**Публикация по журналу**[**«Дружба Народов» 2013, № 8**](http://magazines.russ.ru/druzhba/2013/8/),9.

**Светлана АЛЕКСИЕВИЧ**

**Время second-hand**

**Конец красного человека**

Записки соучастника

Мы прощаемся с советским временем. С той нашей жизнью. Я пытаюсь честно выслушать всех участников социалистической драмы…

У коммунизма был безумный план — переделать «старого» человека, ветхого Адама. И это получилось… может быть, единственное, что получилось. За семьдесят с лишним лет в лаборатории марксизма-ленинизма вывели отдельный человеческий тип — homo soveticus. Одни считают, что это трагический персонаж, другие называют его «совком». Мне кажется, я знаю этого человека, он мне хорошо знаком, я рядом с ним, бок о бок прожила много лет. Он — это я. Это мои знакомые, друзья, родители. Несколько лет я ездила по всему бывшему Советскому Союзу, потому что homo soveticus — это не только русские, но и белорусы, туркмены, украинцы, казахи… Теперь мы живем в разных государствах, говорим на разных языках, но нас ни с кем не перепутаешь. Узнаешь сразу! Все мы, люди из социализма, похожие и не похожие на остальных людей — у нас свой словарь, свои представления о добре и зле, о героях и мучениках. У нас особые отношения со смертью. Постоянно в рассказах, которые я записываю, режут ухо слова: «стрелять», «расстрелять», «ликвидировать», «пустить в расход» или такие советские варианты исчезновения, как: «арест», «десять лет без права переписки», «эмиграция». Сколько может стоить человеческая жизнь, если мы помним, что недавно погибали миллионы? Мы полны ненависти и предрассудков. Все оттуда, где был ГУЛАГ и страшная война. Коллективизация, раскулачивание, переселение народов…

Это был социализм, и это была просто наша жизнь. Тогда мы мало о ней говорили. А теперь, когда мир необратимо изменился, всем стала интересна та наша жизнь, неважно какой она была, это была наша жизнь. Пишу, разыскиваю по крупицам, по крохам историю «домашнего»… «внутреннего» социализма. То, как он жил в человеческой душе. Меня всегда привлекает вот это маленькое пространство — человек… один человек. На самом деле там все и происходит.

Почему в книге так много рассказов самоубийц, а не обыкновенных советских людей с обыкновенными советскими биографиями? В конце концов, кончают с собой и из-за любви, из-за старости, просто так, ради интереса, из-за желания разгадать секрет смерти… Я искала тех, кто намертво прирос к идее, впустил ее в себя так, что не отодрать — государство стало их космосом, заменило им все, даже собственную жизнь. Они не смогли уйти из великой истории, распрощаться с ней, быть счастливыми иначе. Нырнуть… пропасть в частном существовании, как это происходит сегодня, когда маленькое стало большим. Человек хочет просто жить, без великой идеи. Такого никогда не было в русской жизни, этого не знает и русская литература. В общем-то, мы военные люди. Или воевали, или готовились к войне. Никогда не жили иначе. Отсюда военная психология. И в мирной жизни все было по-военному. Стучал барабан, развевалось знамя… сердце выскакивало из груди… Человек не замечал своего рабства, он даже любил свое рабство. Я тоже помню: после школы мы собирались всем классом поехать на целину, презирали тех, кто отказывался, до слез жалели, что революция, гражданская война — все случилось без нас. Оглянешься: неужели это мы? Я? Я вспоминала вместе со своими героями. Кто-то из них сказал: «Только советский человек может понять советского человека». Мы были люди с одной коммунистической памятью. Соседи по памяти.

Отец вспоминал, что он лично в коммунизм поверил после полета Гагарина.

Мы — первые! Мы все можем! Так они с мамой нас и воспитывали. Я была октябренком, носила значок с кудрявым мальчиком, пионеркой, комсомолкой. Разочарование пришло позже.

После перестройки все ждали, когда откроют архивы. Их открыли. Мы узнали историю, которую от нас скрывали…

«Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из ста, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить — их надо уничтожить» (Зиновьев, 1918).

«Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 1000 завзятых кулаков, богатеев… отнять у них весь хлеб, назначить заложников… Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал…» (Ленин, 1918).

«Москва буквально умирает от голода» (профессор Кузнецов — Троцкому). «Это не голод. Когда Тит брал Иерусалим, еврейские матери ели своих детей. Вот когда я заставлю ваших матерей есть своих детей, тогда вы можете прийти и сказать: "Мы голодаем"» (Троцкий, 1919).

Люди читали газеты, журналы и молчали. На них обрушился неподъемный ужас! Как с этим жить? Многие встретили правду как врага. И свободу тоже. «Мы не знаем свою страну. Не знаем, о чем думает большинство людей, мы их видим, встречаем каждый день, но о чем они думают, чего хотят, мы не знаем. Но берем на себя смелость их учить. Скоро всё узнаем — и ужаснемся», — говорил один мой знакомый, с которым мы часто сидели у меня на кухне. Я с ним спорила. Было это в девяносто первом году… Счастливое время! Мы верили, что завтра, буквально завтра начнется свобода. Начнется из ничего, из наших желаний.

Из «Записных книжек» Шаламова: «Я был участником великой проигранной битвы за действительное обновление жизни». Написал это человек, отсидевший семнадцать лет в сталинских лагерях. Тоска об идеале осталась… Советских людей я бы разделила на четыре поколения: сталинское, хрущевское, брежневское и горбачевское. Я — из последнего. Нам было легче принять крах коммунистической идеи, так как мы не жили в то время, когда идея была молодая, сильная, с нерастраченной магией гибельного романтизма и утопических надежд. Мы выросли при кремлевских старцах. В постные вегетарианские времена. Большая кровь коммунизма уже была забыта. Пафос свирепствовал, но сохранилось знание, что утопию нельзя превращать в жизнь.

Это было в первую чеченскую войну… Я познакомилась в Москве на вокзале с женщиной, она была откуда-то из-под Тамбова. Ехала в Чечню, чтобы забрать сына с войны: «Я не хочу, чтобы он умирал. Я не хочу, чтобы он убивал». Государство уже не владело ее душой. Это был свободный человек. Таких людей было немного. Больше было тех, кого свобода раздражала: «Я купил три газеты и в каждой своя правда. Где же настоящая правда? Раньше прочитаешь утром газету "Правда" — и все знаешь. Все понимаешь». Из-под наркоза идеи выходили медленно. Если я начинала разговор о покаянии, в ответ слышала: «За что я должен каяться?» Каждый чувствовал себя жертвой, но не соучастником. Один говорил: «я тоже сидел», второй — «я воевал», третий — «я свой город из разрухи поднимал, днем и ночью кирпичи таскал». Это было совершенно неожиданно: все пьяные от свободы, но не готовые к свободе. Где же она, свобода? Только на кухне, где по привычке продолжали ругать власть. Ругали Ельцина и Горбачева. Ельцина за то, что изменил Россию. А Горбачева? Горбачева за то, что изменил все. Весь двадцатый век. И у нас теперь будет, как у других. Как у всех. Думали, что на этот раз получится.

Россия менялась и ненавидела себя за то, что менялась. «Неподвижный Монгол» — писал о России Маркс.

Советская цивилизация… Тороплюсь запечатлеть ее следы. Знакомые лица. Расспрашиваю не о социализме, а о любви, ревности, детстве, старости. О музыке, танцах, прическах. О тысячах подробностей исчезнувшей жизни. Это единственный способ загнать катастрофу в рамки привычного и попытаться что-то рассказать. О чем-то догадаться. Не устаю удивляться тому, как интересна обычная человеческая жизнь. Бесконечное количество человеческих правд… Историю интересуют только факты, а эмоции остаются за бортом. Их не принято впускать в историю. Я же смотрю на мир глазами гуманитария, а не историка. Удивлена человеком …

Отца уже нет. И я не могу договорить с ним один наш разговор… Он сказал, что им умирать на войне было легче, чем необстрелянным мальчикам, которые сегодня погибают в Чечне. В сороковые — они из ада попадали в ад. Перед войной отец учился в Минске в Институте журналистики. Вспоминал, что, когда они возвращались с каникул, часто уже не встречали ни одного знакомого преподавателя, все были арестованы. Они не понимали, что происходит, но было страшно. Страшно, как на войне.

У меня с отцом было мало откровенных разговоров. Он жалел меня. Жалела ли я его? Мне трудно ответить на этот вопрос… Мы были беспощадны к своим родителям. Нам казалось, что свобода — это очень просто. Прошло немного времени, и мы сами согнулись под ее бременем, потому что никто не учил нас свободе. Учили только, как умирать за свободу.

Вот она — свобода! Такую ли мы ее ждали? Мы были готовы умереть за свои идеалы. Драться в бою. А началась «чеховская» жизнь. Без истории. Рухнули все ценности, кроме ценности жизни. Жизни вообще. Новые мечты: построить дом, купить хорошую машину, посадить крыжовник… Свобода оказалась реабилитацией мещанства, обычно замордованного в русской жизни. Свободой Его Величества Потребления. Величия тьмы. Тьмы желаний, инстинктов — потаенной человеческой жизни, о которой мы имели приблизительное представление. Всю историю выживали, а не жили. А теперь военный опыт уже не нужен, его надо было забыть. Тысячи новых эмоций, состояний, реакций… Как-то вдруг все вокруг стало другим: вывески, вещи, деньги, флаг… И сам человек. Он стал более цветным, отдельным, монолит взорвали, и жизнь рассыпалась на островки, атомы, ячейки. Как у Даля: свобода-воля… волюшка-раздолюшка… простор. Великое зло превратилось в далекое сказание, в политический детектив. Никто уже не говорил об идее, говорили о кредитах, процентах, векселях, деньги не зарабатывали, а «делали», «выигрывали». Надолго ли это? «Неправда денег в русской душе невытравима», — писала Цветаева. Но будто ожили и разгуливают по нашим улицам герои Островского и Салтыкова-Щедрина.

У всех, с кем встречалась, я спрашивала: «Что такое — свобода?» Отцы и дети отвечали по-разному. У тех, кто родился в СССР, и тех, кто родился не в СССР, нет общего опыта. Они — люди с разных планет.

Отцы: свобода — отсутствие страха; три дня в августе, когда мы победили путч; человек, который выбирает в магазине из ста сортов колбасы, свободнее, чем человек, который выбирает из десяти сортов; быть непоротым, но непоротых поколений нам никогда не дождаться; русский человек не понимает свободу, ему нужен казак и плеть.

Дети: свобода — любовь; внутренняя свобода — абсолютная ценность; когда ты не боишься своих желаний; иметь много денег, тогда у тебя будет все; когда ты можешь жить так, чтобы не задумываться о свободе. Свобода — это нормально.

Ищу язык. У человека много языков: язык, на котором разговаривают с детьми, еще один, это тот, на котором говорят в любви… А еще есть язык, на котором мы говорим сами с собой, ведем внутренние разговоры. На улице, на работе, в путешествиях — везде звучит что-то другое, меняются не только слова, но и что-то еще. Даже утром и вечером человек говорит по-разному. А то, что происходит ночью между двумя людьми, совершенно исчезает из истории. Мы имеем дело только с историей дневного человека. Самоубийство — ночная тема, человек находится на границе бытия и небытия. Сна. Я хочу это понять с дотошностью дневного человека. Услышала: «Не боитесь, что понравится?»

Едем по Смоленщине. В одной деревне остановились возле магазина. Какие знакомые (я же сама выросла в деревне), красивые, какие хорошие лица — и какая унизительная, нищая жизнь вокруг. Разговорились о жизни. «О свободе спрашиваете? Зайдите в наш магазин: водка стоит, какая хочешь: "Стандарт", "Горбачев", "Путинка", колбасы навалом, и сыра, и рыбы. Бананы лежат. Какая еще свобода нужна? Нам этой хватит». — «А землю вам дали?» — «Кто на ней будет корячиться? Хочешь — бери. У нас один Васька Крутой взял. Младшему пацану восемь лет, а он рядом с отцом за плугом идет. У него, если наймешься на работу — не украдешь, не поспишь. Фашист!»

У Достоевского в «Легенде о Великом инквизиторе» идет спор о свободе. О том, что путь свободы трудный, страдальческий, трагический… «Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит?» Человек должен все время выбирать: свобода или благополучие и устроение жизни, свобода со страданиями или счастье без свободы. И большинство людей идет вторым путем.

Великий инквизитор говорит Христу, который вернулся на землю:

«Зачем же Ты пришел нам мешать? Ибо Ты пришел нам мешать и сам это знаешь».

«Столь уважая его (человека), Ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него потребовал… Уважая его менее, менее от него и потребовал бы, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл… Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров?»

«Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться… и кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается…»

\* \* \*

В девяностые… да, мы были счастливыми, к той нашей наивности уже не вернуться. Нам казалось, что выбор сделан, коммунизм безнадежно проиграл. А все только начиналось…

Прошло двадцать лет… «Не пугайте нас социализмом», — говорят дети родителям.

Из разговора со знакомым университетским преподавателем: «В конце девяностых студенты смеялись, — рассказывал он, — когда я вспоминал о Советском Союзе, они были уверены, что перед ними открывается новое будущее. Теперь картина иная… Сегодняшние студенты уже узнали, прочувствовали, что такое капитализм — неравенство, бедность, наглое богатство, перед глазами у них жизнь родителей, которым ничего не досталось от разграбленной страны. И они радикально настроены. Мечтают о своей революции. Носят красные футболки с портретами Ленина и Че Гевары».

В обществе появился запрос на Советский Союз. На культ Сталина. Половина молодых людей от 19 до 30 лет считают Сталина «величайшим политическим деятелем». В стране, в которой Сталин уничтожил людей не меньше, чем Гитлер, новый культ Сталина?! Опять в моде все советское. Например, «советские» кафе — с советскими названиями и советскими блюдами. Появились «советские» конфеты и «советская» колбаса — с запахом и вкусом, знакомыми нам с детства. И конечно, «советская» водка. На телевидении десятки передач, а в интернете десятки «советских» ностальгических сайтов. В сталинские лагеря — на Соловки, в Магадан — вы можете попасть туристом. Реклама обещает, что для полноты ощущений вам выдадут лагерную робу, кирку. Покажут отреставрированные бараки. А в конце организуют рыбалку…

Возрождаются старомодные идеи: о великой империи, о «железной руке», «об особом русском пути»… Вернули советский гимн, есть комсомол, только он называется «Наши», есть партия власти, копирующая коммунистическую партию. У Президента власть, как у Генсека. Абсолютная. Вместо марксизма-ленинизма — православие…

Перед революцией семнадцатого года Александр Грин написал: «А будущее как-то перестало стоять на своем месте». Прошло сто лет — и будущее опять не на своем месте. Наступило время second-hand.

Баррикада — опасное место для художника. Ловушка. Там портится зрение, сужается зрачок, мир теряет краски. Там черно-белый мир. Оттуда человека уже не различишь, а видишь только черную точку — мишень. Я всю жизнь — на баррикадах, я хотела бы уйти оттуда. Научиться радоваться жизни. Вернуть себе нормальное зрение. Но десятки тысяч людей снова выходят на улицы. Берутся за руки. У них белые ленточки на куртках. Символ возрождения. Света. И я с ними.

Встретила на улице молодых ребят в майках с серпом и молотом и портретом Ленина. Знают ли они, что такое коммунизм?

Часть первая

Утешение апокалипсисом

Из уличного шума и разговоров на кухне (1991—2001)

Про Иванушку-дурачка и золотую рыбку

«Что я понял? Я понял, что герои одного времени редко бывают героями другого времени. Кроме Иванушки-дурачка. И Емели. Любимых героев русских сказок. Наши сказки — про везение, про миг удачи. Про ожидание чудесной помощи, чтоб все в рот само свалилось. Лежа на печи, иметь все. Чтобы печь сама блины пекла, а золотая рыбка все желания исполняла. Хочу то и хочу это. Хочу Царевну Прекрасную! И хочу жить в царстве ином — с молочными реками и кисельными берегами. Мы — мечтатели, конечно. Душа трудится и страдает, а дело мало движется, потому что на него сил уже не хватает. Дело стоит. Загадочная русская душа… Все пытаются ее понять… читают Достоевского… Что там у них за душой? А за душой у нас только душа. Поговорить любим на кухне, почитать книгу. Главная профессия — читатель. Зритель. И при этом ощущение своей особенности, исключительности, хотя оснований для этого никаких, кроме нефти и газа. С одной стороны, это-то и препятствует перемене жизни, а с другой стороны, дает ощущение смысла, что ли. Всегда висит в воздухе, что Россия должна сотворить, показать миру что-то из ряда вон выходящее. Богоизбранный народ. Особый русский путь. Сплошь у нас Обломовы, лежат на диване и ждут чуда. Но не Штольцы. Деятельные, проворные Штольцы презираемы за то, что срубили любимую березовую рощу, вишневый садик. Заводики там строят, делают деньги. Чужие нам Штольцы…»

«Русская кухня… Убогая "хрущобная" кухонька — шесть (девять — уже счастье!) квадратных метров, за тонкой стенкой туалет. Советская планировка. На окошке лук в баночках из-под майонеза, в горшке столетник от насморка. Кухня у нас — это не только место для приготовления пищи, это и столовая, и гостиная, и кабинет, и трибуна. Место для коллективных психотерапевтических сеансов. В девятнадцатом веке вся русская культура жила в дворянских усадьбах, а в двадцатом — на кухнях. И перестройка тоже. Вся "шестидесятническая" жизнь — это "кухонная" жизнь. Спасибо Хрущеву! Это при нем вышли из коммуналок, завели личные кухни, где можно было ругать власть, а главное — не бояться, потому что на кухне все свои. Там рождались идеи, прожекты фантастические. Травили анекдоты… Анекдоты процветали! Коммунист — это тот, кто Маркса читал, а антикоммунист — это тот, кто его понял. Мы выросли на кухнях, и наши дети тоже, они вместе с нами слушали Галича и Окуджаву. Крутили Высоцкого. Ловили Би-би-си. Разговоры обо всем: о том, как все хреново, и о смысле жизни, о счастье для всех. Вспоминаю смешной случай… Засиделись как-то за полночь, наша дочь, ей было двенадцать лет, тут же, на маленьком диванчике, уснула. А мы что-то громко заспорили. И она сквозь сон как заорет: "Не надо больше о политике! Опять Сахаров… Солженицын… Сталин…" (Смеется.)

Бесконечный чай. Кофе. Водочка. А в семидесятые годы пили кубинский ром. Все были влюблены в Фиделя! В кубинскую революцию! Че в берете. Голливудский красавец! Бесконечный треп. Страх, что нас прослушивают, наверняка прослушивают. В середине разговора обязательно кто-нибудь посмотрит со смешком на люстру или на розетку: "Вы слышите, товарищ майор?" Вроде риск… вроде игра… Получали даже какое-то удовольствие от этой лживой жизни. Ничтожное количество людей сопротивлялось открыто, больше было "кухонных диссидентов". С фигой

в кармане…»

«Сейчас стыдно быть бедным, неспортивным… Не успеваешь, короче. А я из поколения дворников и сторожей. Был такой способ внутренней эмиграции. Ты живешь и не замечаешь того, что вокруг, как пейзаж за окном. Мы с женой окончили философский факультет Петербургского (тогда Ленинградского) университета, она устроилась дворником, а я — истопником в котельной. Работаешь одни сутки, двое — дома. Инженер в то время получал сто тридцать рублей, а я в котельной — девяносто, то есть соглашаешься потерять сорок рублей, но зато получаешь абсолютную свободу. Читали книжки, много читали. Разговаривали. Думали, что производим идеи. Мечтали о революции, но боялись — не дождемся. Закрытую, в общем-то, вели жизнь, ничего не знали о том, что творится в мире. Были "комнатные растения". Все себе придумали, как впоследствии выяснилось, нафантазировали — и Запад, и капитализм, и русский народ. Жили миражами. Такой России, как в книжках и на наших кухнях, никогда не было. Только у нас в голове.

В перестройку все кончилось… Грянул капитализм… Девяносто рублей стали десятью долларами. На них — не прожить. Вышли из кухонь на улицу, и тут выяснилось, что идей у нас нет, мы просто сидели все это время и разговаривали. Откуда-то появились совсем другие люди — молодые ребята в малиновых пиджаках и с золотыми перстнями. И с новыми правилами игры: деньги есть — ты человек, денег нет — ты никто. Кому это интересно, что ты Гегеля всего прочитал? "Гуманитарий" звучало как диагноз. Мол, все, что они умеют — это держать томик Мандельштама в руках. Открылось много незнакомого. Интеллигенция до безобразия обнищала. В нашем парке по выходным дням кришнаиты устанавливали полевую кухню и раздавали суп и что-то там простенькое из второго. Выстраивалась такая очередь аккуратненьких стариков, что спазм в горле. Некоторые из них прятали свои лица. У нас к тому времени было уже двое маленьких детей. Голодали натуральным образом. Начали с женой торговать. Брали на заводе четыре-шесть ящиков мороженого и ехали на рынок, туда, где много людей. Холодильников никаких, через несколько часов мороженое уже текло. Тогда раздавали его голодным мальчишкам. Сколько радости! Торговала жена, а я то поднесу, то подвезу — все что угодно готов был делать, только не продавать. Долго чувствовал себя некомфортно.

Раньше часто вспоминал нашу "кухонную жизнь"… Какая была любовь! Какие женщины! Эти женщины презирали богатых. Их нельзя было купить. А сейчас времени на чувства ни у кого нет — все деньги зарабатывают. Открытие денег — как взрыв атомной бомбы…»

Про то, как мы полюбили и разлюбили Горби

«Горбачевское время… Огромные толпы людей со счастливыми лицами. Сво-бо-да! Все этим дышали. Газеты были нарасхват. Время больших надежд — вот-вот попадем в рай. Демократия — неведомый нам зверь. Как сумасшедшие, бегали на митинги: сейчас узнаем всю правду о Сталине, о ГУЛАГе, прочитаем запрещенные "Дети Арбата" Рыбакова и другие хорошие книги — и станем демократами. Как мы ошибались! Из всех радиоточек кричала эта правда… Скорее, скорее! Читайте! Слушайте! Не все оказались к этому готовы… Большинство людей не были антисоветски настроены, они хотели только одного — хорошо жить. Чтобы можно было купить джинсы, "видик" и предел мечтаний — автомобиль! Всем хотелось яркой одежды, вкусной еды. Когда я принесла домой солженицынский "Архипелаг ГУЛАГ", моя мама была в ужасе: "Если ты сейчас же не уйдешь с этой книгой, то я тебя выгоню из дома". У бабушки расстреляли мужа перед войной, а она говорила: "Ваську не жаль. Арестовали правильно. За длинный язык". — "Бабушка, почему ты ничего мне не рассказывала?" — спрашивала я. — "Пусть моя жизнь сдохнет вместе со мной, чтобы вы не пострадали". Так жили наши родители и их родители. Все катком было отутюжено. Перестройку сделал не народ, это сделал один человек — Горбачев. Горбачев и кучка интеллигентов…»

«Горбачев — секретный американский агент… Масон… Предал коммунизм. Коммунистов — на мусорку, комсомольцев — на свалку! Я ненавижу Горбачева за то, что он украл у меня Родину. Советский паспорт как самую дорогую вещь берегу. Да, мы стояли в очереди за синюшными цыплятами и гнилой картошкой, но это была Родина. Я ее любил. Вы жили в "Верхней Вольте с ракетами", а я жил в великой стране. Россия всегда для Запада — враг, ее боятся. Кость в горле. Никому не нужна сильная Россия — с коммунистами или без них. На нас смотрят как на склад — нефти, газа, леса и цветных металлов. Нефть меняем на трусы. А была цивилизация без шмоток и барахла. Советская цивилизация! Кому-то надо было, чтобы ее не стало. Операция ЦРУ. Нами уже управляют американцы. Горбачеву хорошо за это заплатили… Рано или поздно его будут судить. Надеюсь, Иуда доживет до народного гнева. Я с удовольствием прострелил бы ему затылок на Бутовском полигоне. (Стучит кулаком по столу. ) Настало счастье, да? Появились колбаса и бананы. Валяемся в говне и едим все чужое. Вместо Родины — большой супермаркет. Если это называется свобода, то мне такая свобода не нужна. Тьфу! Народ ниже плинтуса опустили, мы рабы. Рабы! При коммунистах кухарка, как говорил Ленин, управляла государством: рабочие, доярки, ткачихи — а теперь в парламенте сидят бандиты. Долларовые миллионеры. Им в тюрьме надо сидеть, а не в парламенте. Надули нас с перестройкой!

Я родился в СССР, и мне там нравилось. Мой отец был коммунистом, учил читать меня по газете "Правда". Каждый праздник мы с ним ходили на демонстрацию. Со слезами на глазах… Я был пионером, носил красный галстук. Пришел Горбачев, и я не успел стать комсомольцем, о чем жалею. Я — совок, да? Мои родители — совки, дед и бабка — совки? Мой совковый дед погиб под Москвой в сорок первом… А моя совковая бабка была в партизанах… Господа либералы отрабатывают свою пайку. Хотят, чтобы мы свое прошлое считали черной дырой. Я их всех ненавижу: горбачева, шеварнадзе, яковлева, — напишите с маленькой буквы, так я их ненавижу. Я не хочу в Америку, я хочу в СССР…»

«То были прекрасные, наивные годы… Мы поверили Горбачеву, сейчас уже никому так легко не поверим. Многие русские люди возвращались из эмиграции на Родину… Был такой подъем! Думали, что сломаем этот барак. Построим что-то новое. Я окончила филологический факультет МГУ и поступила в аспирантуру. Мечтала заниматься наукой. Кумиром в те годы был Аверинцев, на его лекции сходилась вся просвещенная Москва. Встречались и поддерживали друг в друге иллюзию, что скоро будет другая страна, и мы за это боремся. Когда я узнала, что моя однокурсница уезжает в Израиль, очень удивилась: "Неужели тебе не обидно уезжать? У нас все только начинается".

Чем больше говорили и писали: "Свобода! Свобода!", тем быстрее с прилавков исчезали не только сыр и мясо, но и соль, и сахар. Пустые магазины. Страшно. Все по талонам, как в войну. Нас спасла наша бабушка, она целыми днями бегала по городу и отоваривала эти талоны. Весь балкон был забит стиральным порошком, в спальне стояли мешки с сахаром и крупой. Когда выдали талоны на носки, папа заплакал: "Это конец СССР". Он почувствовал… Папа работал в конструкторском бюро на военном заводе, занимался ракетами, и ему это безумно нравилось. У него было два высших образования. Вместо ракет завод стал штамповать стиральные машины и пылесосы. Папу сократили. Они с мамой были ярые перестроечники: писали плакаты, разносили листовки — и вот финал… Растерялись. Не могли поверить, что свобода — она вот такая. Не могли с этим смириться. На улицах уже кричали: "Горбачеву грош цена, берегите Ельцина!" Несли портреты Брежнева в орденах, а портреты Горбачева — в талонах. Начиналось царствование Ельцина: гайдаровские реформы и вот это ненавистное мне "купи-продай"… Чтобы выжить, я ездила в Польшу с мешками лампочек и детских игрушек. Полный вагон: учителя, инженеры, врачи… Все с мешками и сумками. Всю ночь сидим и обсуждаем "Доктора Живаго" Пастернака… пьесы Шатрова… Как в Москве на кухне.

Вспоминаю университетских друзей… Мы стали кем угодно, но не филологами — топ-менеджерами рекламных агентств, банковскими служащими, "челноками"…

Я работаю в агентстве недвижимости у одной дамы, которая приехала из провинции, бывший комсомольский работник. У кого сегодня фирмы? Виллы на Кипре и в Майами? У бывшей партноменклатуры. Это к тому, где надо искать деньги партии… А наши вожди… шестидесятники… Они крови на войне нанюхались, но были наивные, как дети… Нам надо было дневать и ночевать на площадях. Довести дело до конца — добиться Нюрнберга для КПСС. Мы слишком быстро разошлись по домам. Фарцовщики и менялы взяли власть. И вопреки Марксу, после социализма строим капитализм. (Молчит. ) Но я счастлива, что жила в это время. Коммунизм пал! Все, он уже не вернется. Живем в другом мире и смотрим на мир другими глазами. Свободное дыхание тех дней я никогда не забуду…»

Про то, как пришла любовь, а под окнами танки

«Я была влюблена, ни о чем другом не могла больше думать. Жила исключительно этим. И вот мама утром будит: "Танки под окнами! Кажется, переворот!" Я сквозь сон: "Мама, это учения". Фиг вам! Под окнами стояли настоящие танки, я никогда не видела танки так близко. По телевизору шел балет "Лебединое озеро"… Прибежала мамина подруга, она очень волновалась, что задолжала партийные взносы за несколько месяцев. Говорила, что у них в школе стоял бюст Ленина, она его вынесла в подсобку, а теперь — что с ним делать? Все сразу стало на свои места: этого нельзя и того нельзя. Диктор зачитывала Заявление о введение чрезвычайного положения… Мамина подруга при каждом слове вздрагивала: "Боже мой! Боже мой!" Отец плевался в телевизор…

Позвонила Олегу… "Едем к Белому дому?" — "Едем!" Приколола значок с Горбачевым. Нарезала бутербродов. В метро люди были неразговорчивые, все ждали беды. Всюду танки… танки… На броне сидели не убийцы, а испуганные пацаны с виноватыми лицами. Старушки кормили их вареными яйцами и блинами. На душе стало легче, когда возле Белого дома я увидела десятки тысяч людей! Настроение у всех великолепное. Ощущение, что мы все можем. Скандировали: "Ельцин, Ельцин! Ельцин!" Уже формировались отряды самообороны. Записывали только молодых, а пожилым отказывали, и они были недовольны. Какой-то старик возмущался: "У меня коммунисты жизнь украли! Дайте хотя бы умереть красиво!" — "Папаша, отойдите…" Сейчас говорят, что мы хотели защитить капитализм… Неправда! Я защищала социализм, но какой-то другой… не советский… И я его защитила! Я так думала. Мы все так думали… Через три дня танки уходили из Москвы, это уже были добрые танки. Победа! И мы целовались, целовались…»

Сижу на кухне у моих московских знакомых. Тут собралась большая компания: друзья, родственники из провинции. Вспомнили, что завтра очередная годовщина августовского путча.

— Завтра — праздник…

— А что праздновать-то? Трагедия. Народ проиграл.

— Под музыку Чайковского совдепию похоронили…

— Первое, что я сделала, взяла деньги и побежала в магазины. Знала, чем бы оно ни кончилось, а цены вырастут.

— Обрадовался: Горби уберут! Надоел уже этот болтун.

— Революция была декоративная. Спектакль для народа. Помню полное безразличие, с кем не заговоришь. Выжидали.

— А я позвонил на работу — и пошел делать революцию. Выгреб из буфета все ножи, которые были дома. Понимал, что война… нужно оружие…

— Я был за коммунизм! У нас в семье — все коммунисты. Вместо колыбельных мама пела нам революционные песни. И внукам сейчас поет. «Ты что, с ума

сошла?» — говорю. А она: «Я других песен не знаю». И дед был большевик… и бабка…

— Вы еще скажите, что коммунизм — красивая сказочка. У моего отца родители исчезли в лагерях Мордовии.

— Я пошел к Белому дому вместе с родителями. Папа сказал: «Пойдем. А то колбасы и хороших книг не будет никогда». Разбирали брусчатку и строили баррикады.

— Сейчас народ протрезвел, и отношение к коммунистам меняется. Можно не скрывать… Я работал в райкоме комсомола. В первый день все комсомольские билеты, чистые бланки и значки забрал домой и спрятал в подвале, потом картошку некуда было складывать. Я не знал, зачем они мне нужны, но представил, как придут отпечатывать и все это уничтожать, а это были дорогие для меня символы.

— Мы могли пойти убивать друг друга… Бог спас!

— Наша дочь лежала в роддоме. Я пришла к ней, а она: «Мам, революция будет? Гражданская война начнется?»

— Ну а я окончил военное училище. Служил в Москве. Дали бы нам приказ кого-то арестовать, мы бы, без всяких сомнений, этот приказ выполнили. Многие бы выполнили его с усердием. Надоела неразбериха в стране. Все раньше было четко и ясно, все по предписанию. Был порядок. Военные любят так жить. Вообще люди любят так жить.

— Я боюсь свободы, придет пьяный мужик и спалит дачу.

— Какие, братцы, идеи? Жизнь коротка. Давайте выпьем!

19 августа 2001 года — десятилетний юбилей августовского путча. Я в Иркутске — столице Сибири. Беру несколько блиц-интервью на улицах города.

Вопрос:

— Что было бы, если бы ГКЧП победил?

Ответы:

— Сохранили бы великую страну…

— Посмотрите на Китай, где коммунисты у власти. Китай стал второй экономикой в мире…

— Горбачева и Ельцина судили бы как изменников Родины.

— Залили бы страну кровью… И забили бы людьми концлагеря.

— Не предали бы социализм. Не разделились бы на богатых и бедных.

— Не было бы никакой войны в Чечне.

— Никто не смел бы говорить, что Гитлера победили американцы.

— Я сам стоял у Белого дома. И у меня чувство, что меня обманули.

— Что было бы, если бы путч победил? А он и победил! Памятник Дзержинскому свергли, а Лубянка осталась. Строим капитализм под руководством КГБ.

— Моя жизнь не изменилась бы…

Про то, как вещи уравнялись с идеями и словами

«Мир рассыпался на десятки разноцветных кусочков. Как нам хотелось, чтобы серые советские будни скорее превратились в сладкие картинки из американского кино! О том, как мы стояли у Белого дома, уже мало кто вспоминал… Те три дня потрясли мир, но не потрясли нас… Две тысячи человек митингуют, а остальные едут мимо и смотрят на них как на идиотов. Много пили, у нас всегда много пьют, но тогда особенно много пили. Общество замерло: куда двинемся? То ли будет капитализм, то ли будет хороший социализм? Капиталисты жирные, страшные — это нам внушили с детства… (Смеется.)

Страна покрылась банками и торговыми палатками. Появились совсем другие вещи. Не топорные сапоги и старушечьи платья, а вещи, о которых мы всегда мечтали: джинсы, дубленки… женское белье и хорошая посуда… Все цветное, красивое. Наши советские вещи были серые, аскетичные, они были похожи на военные. Библиотеки и театры опустели. Их заменили базары и коммерческие магазины. Все захотели быть счастливыми, получить счастье сейчас. Как дети, открывали для себя новый мир… Перестали падать в обморок в супермаркете… Знакомый парень занялся бизнесом. Рассказывал мне: первый раз привез тысячу банок растворимого

кофе — расхватали за пару дней, купил сто пылесосов — тоже в момент размели. Куртки, свитера, всякая мелочь — только давай! Все переодевались, переобувались. Меняли технику и мебель. Ремонтировали дачи… Захотели делать красивые заборчики и крыши… Начнем иногда с друзьями вспоминать, так со смеху умираем… Дикари! Совершенно нищие были люди. Всему надо было учиться… В советское время разрешалось иметь много книг, но не дорогую машину и дом. И мы учились хорошо одеваться, вкусно готовить, утром пить сок и йогурт… Я до этого презирала деньги, потому что не знала, что это такое. В нашей семье нельзя было говорить о деньгах. Стыдно. Мы выросли в стране, в которой деньги, можно сказать, отсутствовали. Я, как все, получала свои сто двадцать рублей — и мне хватало. Деньги пришли с перестройкой. С Гайдаром. Настоящие деньги. Вместо "Наше будущее — коммунизм" всюду висели растяжки "Покупайте! Покупайте!" Хочешь — путешествуй. Можешь увидеть Париж… Или Испанию… Фиеста… бой быков… Я об этом читала у Хемингуэя, читала и понимала, что никогда этого не увижу. Книги были вместо жизни… Так кончились наши ночные бдения на кухнях и начались заработки, приработки. Деньги стали синонимом свободы. Это волновало всех. Самые сильные и агрессивные занялись бизнесом. О Ленине и Сталине забыли. Так мы спаслись от гражданской войны, а то опять бы были "белые" и "красные". "Наши" — "не наши". Вместо крови — вещи… Жизнь! Выбрали красивую жизнь. Никто не хотел красиво умирать, все хотели красиво жить. Другое дело, что пряников на всех не хватило…»

«Советское время… У Слова был священный, магический статус. И по инерции на интеллигентских кухнях еще говорили о Пастернаке, варили суп, не выпуская из рук Астафьева и Быкова, но жизнь все время доказывала, что это уже неважно. Слова ничего не значат. В девяносто первом… Мы положили нашу маму в больницу с тяжелой пневмонией, и она вернулась оттуда героиней, у нее рот там не закрывался. Рассказывала о Сталине, об убийстве Кирова, о Бухарине… Ее готовы были слушать день и ночь. Люди тогда хотели, чтобы им открыли глаза. А недавно она снова попала в больницу, и сколько там была, столько молчала. Лет пять прошло всего-то, и реальность уже распределила роли иначе. Героиней на этот раз была жена крупного бизнесмена… Онемели все от ее рассказов… Какой у нее дом — триста квадратных метров! Сколько прислуги: кухарка, нянька, водитель, садовник… Отдыхать с мужем ездят в Европу… Музеи — понятно, а бутики… Бутики! Одно кольцо столько-то карат, а другое… А подвески… золотые клипсы… Полный аншлаг! О ГУЛАГе или о чем-то таком ни слова. Ну было и было. Что теперь спорить со стариками?

Я заходила по привычке в букинистический — там спокойно стояли все двести томов "Всемирки" и "Библиотека приключений", та самая — оранжевая, которой я бредила. Смотрела на корешки и долго вдыхала этот запах. Лежали горы книг! Интеллигенты распродавали свои библиотеки. Публика, конечно, обеднела, но не из-за этого книги выносили из дома, не только из-за денег — книги разочаровали. Полное разочарование. Стало уже неприлично задавать вопрос: "А что ты сейчас читаешь?" В жизни слишком многое изменилось, а в книгах этого нет. Русские романы не учат, как добиться успеха в жизни. Как стать богатым… Обломов лежит на диване, а герои Чехова все время пьют чай и жалуются на жизнь… (Молчит.) Не дай бог жить в эпоху перемен — говорят китайцы. Мало кто из нас сохранился таким, каким был. Куда-то исчезли приличные люди. Всюду локти и зубы…»

«Если о девяностых… Я бы не сказал, что это было красивое время, оно было отвратительное. Произошел переворот в умах на сто восемьдесят градусов… Кто-то не выдержал и сошел с ума, больницы для душевнобольных были переполнены. Я навещал там своего друга: один кричит: "Я — Сталин! Я — Сталин!", а другой: "Я — Березовский! Я — Березовский!". Их целое отделение — сталиных и березовских. На улицах все время стреляли. Убили огромное количество людей. Каждый день шли разборки. Урвать. Успеть. Пока другие не успели. Кого-то разорили, кого-то посадили. С трона — в подвал. А с другой стороны, кайф — все происходит на твоих глазах…

В банках стояли очереди людей, желающих начать свое дело: открыть булочную, продавать электронику… Я тоже был в этой очереди. И меня удивило, как нас много. Какая-то тетка в вязаном берете, мальчик в спортивной курточке, здоровенный мужик, смахивающий на зэка… Семьдесят с лишним лет учили: не в деньгах счастье, все лучшее в жизни человек получает бесплатно. Любовь, например. Но стоило с трибуны произнести: торгуйте, богатейте — все забыли. Все советские книжки забыли. Эти люди совсем не были похожи на тех, с кем я сидел до утра и бренчал на гитаре. Три аккорда с грехом пополам я выучил. Единственное, что их объединяло с "кухонными" людьми, так это то, что им тоже надоели кумачовые флаги и вся эта мишура: комсомольские собрания, политзанятия… Социализм считал человека глупеньким…

Я очень хорошо знаю, что такое мечта. Все детство я просил купить мне велосипед, и мне его не купили. Бедно жили. В школе я фарцевал джинсами, в институте — советской военной формой плюс символикой разной. Иностранцы покупали. Обычная фарца. В советское время за это сажали на срок от трех до пяти лет. Отец бегал за мной с ремнем и кричал: "Спекулянт! Я под Москвой кровь проливал, а вырастил такое говнецо!". Вчера преступление, сегодня — бизнес. В одном месте купил гвозди, в другом набойки — упаковал в полиэтиленовый мешок и продал как новый товар. Принес домой деньги. Накупил всего, полный холодильник. Родители ждали, что за мной придут и арестуют. (Хохочет. ) Торговал бытовой техникой. Скороварками, пароварками… Пригонял из Германии машину с прицепом этого добра. Все шло валом… У меня в кабинете стояла коробка из-под компьютера, полная денег, я только так понимал, что это деньги. Берешь, берешь из этой коробки, а там все не кончается. Уже вроде все купил: тачку, квартиру… часы "Роллекс"… Помню это опьянение… Ты можешь исполнить все свои желания, тайные фантазии. Я много узнал о себе: во-первых, что у меня нет вкуса, а во-вторых, что я закомплексован. Не умею с деньгами обращаться. Я не знал, что большие деньги должны работать, они не могут лежать. Деньги — такое же испытание для человека, как власть, как любовь… Мечтал… И я поехал в Монако. В казино Монте-Карло проиграл огромные деньги, очень много. Меня несло… Я был рабом своей коробки. Есть там деньги или нет? Сколько их? Их должно быть больше и больше. Меня перестало интересовать то, что интересовало раньше. Политика… митинги… Умер Сахаров. Я пошел с ним попрощаться. Сотни тысяч людей… Все плакали, и я плакал. А тут недавно читаю о нем в газете: "умер великий юродивый России". И я подумал, что он вовремя умер. Вернулся из Америки Солженицын, все бросились в нему. Но он не понимал нас, а мы его. Иностранец. Он приехал в Россию, а за окном Чикаго…

Кем бы я был, если бы не перестройка? ИТР с жалкой зарплатой… (Смеется.) А сейчас у меня своя глазная клиника. Несколько сотен человек зависят от меня со своими семьями, дедушками, бабушками. Вы копаетесь в себе, рефлектируете, а у меня этой проблемы нет. Я работаю день и ночь. Закупил новейшее оборудование, отправил хирургов во Францию на стажировку. Но я не альтруист, я хорошо зарабатываю. Всего добился сам… У меня было только триста долларов в кармане… Начинал бизнес с партнерами, от которых вы бы в обморок упали, если бы они сейчас зашли в комнату. Гориллы! Лютый взгляд! Теперь их уже нет, они исчезли, как динозавры. Ходил в бронежилете, в меня стреляли. Если кто-то ест колбасу хуже, чем я, меня это не интересует. Вы же все хотели, чтобы был капитализм. Мечтали! Не кричите, что вас обманули…»

Про то, что мы выросли среди палачей и жертв

«Идем вечером из кино. В луже крови лежит мужчина. На спине в плаще дырка от пули. Возле него стоит милиционер. Так первый раз я увидел убитого человека. Скоро привык к этому. Дом наш большой, двадцать подъездов. Каждое утро во дворе находили труп, и уже мы не вздрагивали. Начинался настоящий капитализм. С кровью. Я ожидал от себя потрясения, а его не было. После Сталина у нас другое отношение к крови… Помним, как свои убивали своих… И про массовые убийства людей, которые не знали, за что их убивают… Это осталось, это присутствует в нашей жизни. Мы выросли среди палачей и жертв… Для нас нормально — жить вместе. Нет границы между мирным и военным состоянием. Всегда война. Включишь телевизор — все ботают по фене: и политики, и бизнесмены, и президент — откаты, взятки, распилы… Человеческая жизнь — плюнуть и растереть. Как в зоне…»

«Почему мы не осудили Сталина? Я вам отвечу… Чтобы осудить Сталина, надо осудить своих родных, знакомых. Самых близких людей. Расскажу про свою семью… Папу посадили в тридцать седьмом; слава богу, он вернулся, но отсидел десять лет. Вернулся и очень хотел жить… Сам удивлялся, что ему после всего, что он видел, хочется жить… Так было не со всеми, далеко не со всеми… Мое поколение выросло с папами, которые вернулись или из лагерей, или с войны. Единственно, о чем они могли нам рассказать, так это о насилии. О смерти. Они редко смеялись, много молчали. И пили… пили… В конце концов спивались. Второй вариант… Те, кого не посадили, боялись, что посадят. Все это не месяц или два, а годами длилось — годами! А если не посадили, то вопрос: почему всех посадили, а меня нет? Что я делаю не так? Могли арестовать, а могли направить на работу в НКВД… Партия просит, партия приказывает. Выбор неприятный, но многие должны были его сделать… А теперь о палачах… Обыкновенных, не страшных… Донес на папу наш сосед… дядя Юра… Из-за пустяка, как говорила мама. Мне было семь лет. Дядя Юра брал на рыбалку своих ребятишек и меня, катал на лошади. Чинил наш забор. Понимаете, совсем другой портрет палача получается — обыкновенный человек, даже хороший… Нормальный… Арестовали папу и через несколько месяцев забрали папиного брата. При Ельцине мне дали его дело, там лежало несколько доносов, один написала тетя Оля… Племянница… Красивая женщина, веселая… Хорошо пела… Она уже была старая, я спросил: "Тетя Оля, расскажи о тридцать седьмом годе…" — "Это был самый счастливый год в моей жизни. Я была влюблена", — ответила она мне… Папин брат не вернулся домой. Пропал. В тюрьме или в лагере — неизвестно. Мне было трудно, но я все-таки задал вопрос, который меня мучил: "Тетя Оля, зачем ты это сделала?" — "Где ты видел честного человека в сталинское время?" (Молчит.) А еще был дядя Павел, который служил в Сибири в войсках НКВД… Понимаете, не существует химически чистого зла… Это не только Сталин и Берия… Это и дядя Юра, и красивая тетя Оля…»

Первое мая. В этот день коммунисты проходят по улицам Москвы многотысячным маршем. Столица снова «краснеет»: красные флаги, красные шарики, красные футболки с серпом и молотом. Несут портреты Ленина и Сталина. Портретов Сталина больше. Плакаты: «В гробу мы видели ваш капитализм!», «Красное знамя — на Кремль!». Обычная Москва стоит на тротуаре, «красная» катит лавиной по проезжей части. Между ними все время идет перепалка, местами доходящая до драк. Полиция бессильна разделить эти две Москвы. А я не успеваю записать все, что слышу…

— Похороните Ленина, причем без почестей.

— Американские лакеи! За что продали страну?

— Дураки вы, братцы…

— Ельцин и его банда украли у нас все. Пейте! Богатейте! Когда-то это кончится…

— Боятся народу прямо сказать, что строим капитализм? Оружие готовы схватить все, даже моя мама-домохозяйка.

— Штыком много чего можно сделать, но сидеть на нем неудобно.

— А я бы буржуинов проклятых танками давил!

— Коммунизм придумал еврей Маркс…

— Спасти нас может только один человек — товарищ Сталин. Его бы нам на два дня… Расстрелял бы их всех — и пусть уходит, ложится.

— И слава тебе, господи! Я всем святым поклонюсь.

— Сталинские сцуки! У вас кровь на руках еще не остыла. Царскую семью зачем убили? Не пожалели даже детей.

— Великую Россию не сделаешь без великого Сталина.

— Засрали народу мозги…

— Я простой человек. Сталин простых людей не трогал. В нашем роду никто не пострадал — все рабочие. Летели головы начальников, а простой человек жил спокойно.

— Красная гебня! Скоро договоритесь до того, что никаких лагерей не было, кроме пионерских. Мой дед был дворником.

— А мой землемером.

— Машинистом…

У Белорусского вокзала начался митинг. Толпа взрывалась то аплодисментами, то криками: «Ура! Ура! Слава!». В конце вся площадь грянула песню на мотив «Варшавянки» — русской «Марсельезы», с новым текстом: «Сбросим с себя либеральные цепи, сбросим кровавый преступный режим». После этого, свернув красные флаги, одни заспешили к метро, другие выстроились в очереди возле киосков с пирожками и пивом. Начались народные гуляния. Плясали и веселились. Старая женщина в красной косынке кружилась и притоптывала вокруг гармониста: «Мы весело пляшем у елки большой. На Родине нашей нам так хорошо! Мы весело пляшем, мы звонко поем, и песенку нашу мы Сталину шлем…». У самого метро меня догнали пьяные частушки: «Отъебися все плохое, приебись хорошее».

Про то, что нам надо выбирать:

великую историю или банальную жизнь

У пивного ларька всегда шумно. Народ разный. Тут встретишь профессора, работягу, студента, бомжа… Пьют и философствуют. Все о том же — о судьбах России. О коммунизме.

— Я — человек пьющий. Почему я пью? Мне моя жизнь не нравится. Я хочу совершить кульбит немыслимый с помощью алкоголя и каким-то образом перенестись в другое место. И там все будет красиво и хорошо.

— Для меня вопрос стоит более конкретно: где я хочу жить — в великой стране или в нормальной?

— Я любил империю… Мне жизнь после империи скучна. Неинтересна.

— Великая идея требует крови. Сегодня никто не хочет умирать где-то. На какой-то войне. Как в той песне: "Всюду деньги, деньги, деньги. Всюду деньги, господа…" А если вы настаиваете, что у нас есть цель, то какая она? Каждому по "мерседесу" и путевке в Анталию?

— Русскому человеку надо во что-то верить… Верить в светлое, возвышенное. У нас в подкорке заложены империя и коммунизм. Героическое нам ближе.

— Социализм заставлял человека жить в истории… присутствовать при чем-то великом…

— Блять!! Мы такие духовные, мы такие специальные.

— Не было у нас демократии. Какие мы с вами демократы?

— Последнее великое событие в нашей жизни — перестройка.

— Россия может быть только великой или не быть совсем. Нам нужна сильная армия.

— Ну на хрена мне великая страна? Хочу жить в маленькой, такой, как Дания. Без ядерного оружия, без нефти и газа. Чтобы никто меня не бил револьвером по голове. Может, тогда мы тоже научимся тротуары шампунем мыть…

— Коммунизм — непосильная для человека задача… У нас всегда так: то ли конституции хочется, то ли севрюжины с хреном…

— Как я завидую людям, у которых была идея! А мы сейчас живем без идеи. Хочу великую Россию! Я ее не помню, но знаю, что она была.

— Была великая страна с очередью за туалетной бумагой… Я хорошо помню, как пахли советские столовые и советские магазины.

— Россия спасет мир! И сама так спасется!

— Мой отец до девяноста лет дожил. Говорил, что в его жизни ничего хорошего не было, только война. Это все, что мы умеем.

— Бог — это бесконечное, которое есть в нас… Мы сотворены по образу и подобию…

Про все…

«Во мне советского было девяносто процентов… Я не понимала, что происходит. Помню, как выступал по телевидению Гайдар: учитесь торговать… рынок нас спасет… купил на одной улице бутылку минеральной воды и продал ее на другой — это бизнес. Люди слушали с недоумением. Я приходила домой. Закрывала дверь и плакала. У мамы инсульт, так ее все это напугало. Может, они хотели что-то хорошее сделать, но им не хватило сострадания к собственному народу. Никогда не забуду стариков, просящих милостыню, они шеренгами стояли вдоль дороги. Застиранные шапочки, заштопанные пиджачки… Бегу на работу и с работы — боюсь глаза поднять… Работала я на парфюмерной фабрике. Вместо денег выдавали нам духи… косметику…»

«У нас в классе училась бедная девочка, ее родители погибли в автомобильной катастрофе. Она осталась с бабушкой. Весь год ходила в одном и том же платье. Так вот ее никому не было жалко. Как-то быстро стало стыдно быть бедным…»

«О девяностых не жалею… Бурлящее светлое время. Я, которая раньше не интересовалась политикой и не читала газет — пошла баллотироваться в депутаты. Кто были прорабы перестройки? Писатели, художники… Поэты… На первом съезде народных депутатов СССР автографы можно было собирать. Мой муж — экономист, он сходил с ума от этого: "Глаголом жечь сердца людей — это поэты умеют. Революцию вы сделаете. А дальше, дальше — что? Как будете строить демократию? Кто? Теперь понятно, что у вас получится". Смеялся надо мной. Мы из-за этого с ним развелись… Но он оказался прав…»

«Страшно стало, поэтому народ и пошел в храмы. Когда я верил в коммунизм, мне не нужна была церковь. А жена моя ходит со мной из-за того, что в церкви батюшка говорит ей: "Голубушка"».

«Мой отец был честным коммунистом. Я коммунистов не виню, я виню коммунизм. До сих пор не знаю, как мне относиться к Горбачеву… К этому Ельцину… Очереди и пустые прилавки забываются скорее, чем красный флаг над Рейхстагом».

«Мы победили. А кого? Зачем? По телевидению на одном канале идет фильм, где "красные" бьют "белых", а на другом — храбрые "белые" бьют "красных". Шизофрения!»

«Все время говорим о страдании… Это наш путь познания. Западные люди кажутся нам наивными, потому что они не страдают, как мы, у них есть лекарство от любого прыщика. Зато мы сидели в лагерях, в войну землю трупами завалили, голыми руками гребли ядерное топливо в Чернобыле… И теперь сидим на обломках социализма. Как после войны. Мы такие тертые, мы такие битые. У нас свой язык… Язык страдания…

Пробовал заговорить об этом со своими студентами… Смеялись мне в лицо: "Мы не хотим страдать. Для нас жизнь — это что-то другое". Ничего еще не поняли о нашем недавнем мире, а живем в новом. Целая цивилизация — на свалке…»

Из главы «Десять историй в красном интерьере»

О красоте диктатуры и тайне бабочки в цементе

Елена Юрьевна С. — секретарь райкома партии, 49 лет

Ждали меня вдвоем — сама Елена Юрьевна, с которой мы договаривались о встрече, и ее московская подруга Анна Ильинична М , приехавшая погостить. Она тут же включилась в разговор: «Давно хочу, чтобы кто-то объяснил мне, что с нами происходит». Ничего в их рассказах не совпадало, кроме знаковых имен: Горбачев, Ельцин… Но у каждой был свой Горбачев, и свой Ельцин. И свои девяностые.

Елена Юрьевна:

— Разве уже надо рассказывать о социализме? Кому? Еще все — свидетели. Честное слово, удивлена, что вы ко мне пришли. Я — коммунистка… номенклатура… Нам же сейчас не дают слова… затыкают рот. Ленин — бандит, Сталин… Мы все преступники, хотя на моих руках нет ни капли крови. Но на нас клеймо, на всех…

Может быть, через пятьдесят или сто лет о той нашей жизни, которая называлась социализмом, будут писать объективно. Без слез и проклятий. Начнут раскапывать, как древнюю Трою. Недавно вообще хорошо сказать о социализме было нельзя. На Западе после крушения СССР поняли, что марксистские идеи не кончились, их надо развивать. Не молиться на них. Маркс не был там идолом, как у нас. Святым! Сначала мы его боготворили, а потом предали анафеме. Все перечеркнули. Наука тоже принесла человечеству неисчислимые бедствия. Давайте тогда истреблять ученых! Проклянем отцов атомной бомбы, а еще лучше — начнем с тех, кто порох изобрел! С них… Разве я не права? (Я не успеваю ответить на ее вопрос.) Правильно… правильно, что из Москвы выбрались. В Россию, можно сказать, приехали. По Москве когда гуляешь, кажется, что и мы Европа: роскошные машины, рестораны… Золотые купола блестят! А вы послушайте, о чем у нас люди говорят в провинции… Россия — это не Москва, Россия — это Самара, Тольятти, Челябинск… жопинск какой-нибудь… Что на московских кухнях можно узнать о России? На тусовках? Бла-бла-бла… Москва — столица какого-то другого государства, а не того, что за кольцевой дорогой. Туристический рай. Москве не верьте…

К нам приезжают и сразу: ну, это совок. Люди живут очень бедно даже по российским меркам. Ругают богатых, злятся на всех. Ругают государство. Считают, что их обманули, никто им не говорил, что будет капитализм, они думали, что социализм начнут исправлять. Ту жизнь, которую все знали. Советскую. Пока они на митингах драли глотки: «Ельцин! Ельцин!» — их обобрали. Без них разделили заводы и фабрики. И нефть, и газ — то, что как говорится, от Бога. Но это только сейчас поняли. А в девяносто первом все в революцию пошли. На баррикады. Хотели свободы, а что получили? Ельцинскую… бандитскую революцию… Сына моей подруги чуть не убили за социалистические идеи. Слово «коммунист» было оскорблением. Свои пацаны во дворе чуть парня не убили. Знакомые. Сидели в беседке с гитарами и разговаривали: скоро, мол, пойдем стенкой на коммунистов, вешать будем их на фонарях. Мишка Слуцер — папа его у нас в райкоме работал — он мальчик начитанный, процитировал им английского писателя Честертона: «человек без утопии гораздо более страшен, чем человек без носа…». И его за это — ботинками… сапогами… «А, жиденыш! Кто революцию в семнадцатом году делал?» Я помню этот блеск в глазах людей в начале перестройки, никогда его не забуду. Коммунистов готовы были линчевать, отправлять по этапу… В мусорныx контейнерах валялись книги Маяковского, Горького… Сдавали на макулатуру сочинения Ленина. Я подбирала… да! Вот! Я ни от чего не отрекаюсь! Ничего не стыжусь! Не меняла масть и не перекрашивалась из красного цвета в серый. Есть такие люди: «красные» придут — они радостно встречают «красных», «белые» придут — они радостно встречают «белых». Кульбиты совершались потрясающие: вчера — коммунист, сегодня — ультрадемократ. На моих глазах «честные» коммунисты превращались в верующих и либералов. А я люблю и никогда не разлюблю слово «товарищ». Хорошее слово! Совок? Прикусите язык! Советский человек был очень хороший человек, он мог поехать за Урал, в пустыню — ради идеи, а не за доллары. Не за чужие зеленые бумажки. Днепрогэс, Сталинградская битва, выход в открытый космос — это все он. Великий Совок! Мне до сих пор приятно писать — СССР. Это была моя страна, а сейчас я живу не в своей стране. В чужой стране я живу.

Советской я родилась… Наша бабушка не верила в Бога, но верила в коммунизм. А наш папа до самой смерти ждал, что социализм вернется. Уже пала Берлинская стена, развалился Советский Союз, а он все равно ждал. Навеки разругался со своим лучшим другом, когда тот назвал флаг красной тряпкой. Наш красный флаг! Кумачовый! Папа был на финской войне, за что они воевали, он так и не понял, но надо было идти, и он пошел. Об этой войне молчали, называли ее не войной, а финской кампанией. Но папа нам рассказывал… Тихо. Дома. Редко, но вспоминал. Когда выпьет… Пейзаж его войны — зимний: лес и метровой высоты снег. Финны воевали на лыжах, в белых маскхалатах, появлялись везде неожиданно, как ангелы. «Как ангелы» — это папины слова… Могли за ночь вырезать заставу, целую роту. Мертвые… В папиных воспоминаниях мертвые всегда лежали в лужах крови, из сонного человека крови выходит очень много. Крови было столько, что она проедала метровый снег. После войны папа не мог зарезать даже курицу. Кролика. Сильно расстраивался от вида любого убитого животного и теплого запаха крови. Он боялся больших деревьев с густой кроной, на таких деревьях обычно прятались финские снайперы, их называли «кукушками». (Молчит.) Хочу добавить… От себя… После Победы наш городок утопал в цветах, это буйство какое-то было. Самый главный цветок — георгины, его клубни надо было зимой сохранять, чтобы не замерзли. Боже упаси! Их укутывали, укладывали, как будто это маленький ребенок. Цветы росли возле домов, за домами, у колодцев и вдоль заборов. После страха особенно хочется жить, радоваться. А потом цветы исчезли, сейчас этого уже нет. А я помню… Вспомнила сейчас… (Молчит.) Папа… Провоевал наш папа всего полгода и попал в плен. Как он попал в плен? Они наступали по замерзшему озеру, а артиллерия противника била по льду. Мало кто доплывал до берега, а те, кто доплывал, они уже были без сил и без оружия. Полуголые. Финны им тогда протягивали руки. Спасали. Кто-то хватался за эту руку, а кто-то… Было много таких, кто не принимал помощь от врага. Их так учили. А папа ухватился за чью-то руку, его вытащили. Я хорошо помню папино удивление: «Они дали мне шнапса, чтобы я согрелся. Одели в сухое. Смеялись и хлопали по плечу: "Живой, Иван!"» Папа раньше никогда не видел врагов вблизи. Не понимал, почему они радуются…

В сороковом году закончилась финская кампания… Советских военнопленных обменяли на финнов, которые находились у нас в плену. Навстречу друг другу они шли колоннами. Финнов, когда они поравнялись со своими, стали обнимать, жать им руки… Наших встретили не так, их встретили как врагов. «Братцы! Родненькие!» — кинулись они к своим. — «Стоять! Шаг в сторону — стреляем!» Колонну оцепили солдаты с овчарками и повели в специально приготовленные бараки. Вокруг бараков — колючая проволока. Начались допросы… «Как ты попал в плен?» — спросил следователь папу. — «Меня финны вытащили из озера». — «Ты — предатель! Ты спасал свою шкуру, а не Родину». Папа тоже считал, что он виноват. Их так учили… Не было никакого суда. Вывели всех на плац и зачитали перед строем приказ: шесть лет лагерей за измену Родине. Отправили в Воркуту. Там они строили железную дорогу в вечной мерзлоте. Бог мой! Сорок первый год… Немцы уже под Москвой… А им не говорили, что война началась — они же враги, будут радоваться. Уже вся Беларусь под немцами. Взят Смоленск. Когда они узнали об этом, сразу все захотели на фронт, писали письма начальнику лагеря… Сталину… Им отвечали: вы, мол, сволочи, работайте на победу в тылу, на фронте нам предатели не нужны. И они… папа… я от папы это слышала… Они все плакали… (Молчит.) Вот с кем бы вам встретиться… Но папы уже нет. Лагерь ему жизнь укоротил. И перестройка. Он очень страдал. Не понимал, что случилось. Со страной, с партией. Наш папа… В лагере за шесть лет он забыл, что такое яблоко и кочан капусты… простыня и подушка… Три раза в день им давали баланду, буханка хлеба — на двадцать пять человек. А спали — под голову полено, вместо матраца — доски на полу. Наш папа… Странный он был, не такой папа, как у других… Не мог ударить коня или корову, пнуть ногой собаку. Мне всегда было папу жалко. А другие мужчины над ним смеялись: «Ну какой ты мужик? Баба!» Мама плакала, что он… ну что он не такой, как все. Возьмет в руки кочан капусты и разглядывает… Помидор… Первое время вообще молчал, ничем с нами не делился. Лет через десять заговорил. Не раньше… да… Одно время в лагере он возил мертвых. За день собиралось десять-пятнадцать трупов. Живые возвращались в бараки пешком, а мертвые — на санях. С мертвецов им приказывали снимать одежду, и мертвецы лежали на санях голые, как тушканчики. Это я говорю папиными словами… Сбивчиво у меня получается… Из-за чувств… волнуюсь, да… Первые два года в лагере никто из них не верил, что выживет; о доме вспоминали те, у кого был срок пять-шесть лет, а у кого срок десять-пятнадцать лет, о доме молчали. Никого они не вспоминали: ни жен, ни детей. Ни родителей. «Если начнешь вспоминать, не выживешь», — папины слова. А мы его ждали… «Вот папа вернется… и меня не узнает…», «Наш папочка…». Хотелось лишний раз произнести это слово — «папа». И он вернулся. Бабушка увидела возле калитки человека в солдатской шинели: «Солдатик, кого вы ищете?» — «Мама, ты меня не узнала?» Бабушка где стояла, там и упала. Так папа вернулся… Весь был обмороженный, ноги и руки он никогда не мог согреть. Мама? Мама говорила, что папа вернулся после лагеря добрым, а она боялась… ее пугали… что оттуда возвращаются злыми. А наш папа хотел радоваться жизни. На все случаи у него была поговорка: «Мужайся — худшее еще впереди».

Забыла… Забыла, где это происходило… в каком месте? В пересылочном лагере, что ли? На четвереньках по большому двору ползали и ели траву. Дистрофики, пеллагрики. При папе нельзя было ни на что пожаловаться, он знал: «Чтобы выжить, человеку надобно три вещи — хлеб, лук и мыло». Всего три вещи… всего… Этих людей уже нет, наших родителей… Если кто остался, то их надо в музей, под стекло, руками не трогать. Сколько они всего перенесли! Когда папу реабилитировали, ему выдали две солдатские зарплаты за все страдания. Но у нас в доме очень долго висел большой портрет Сталина. Очень долго… я это хорошо помню… Жил папа без обиды, он считал, что это время было такое. Жестокое время. Строили сильную страну. И построили, и победили Гитлера! Папины слова…

Я росла серьезной девочкой, настоящей пионеркой. Теперь у всех такое мнение, что раньше в пионерскую организацию загоняли. Никуда не загоняли. Все дети мечтали быть пионерами. Ходить вместе. С барабаном, с горном. Петь пионерские песни: «Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой!», «У власти орлиной орлят миллионы, и нами гордится страна…» На нашей семье все-таки было это пятно, что папа сидел, мама боялась, что меня не примут в пионеры или не сразу примут. А мне хотелось быть со всеми. Обязательно, да… «Ты за кого: за луну или за солнце?» — устраивали мне допрос мальчишки в классе. Тут надо быть начеку! «За луну». — «Правильно! За советскую страну». А скажешь «За солнце» — «За проклятого японца». Засмеют, задразнят. Клялись мы друг другу так: «честное пионерское» или «честное ленинское». Самая большая клятва — «честное сталинское слово». Родители знали, если я сказала «честное сталинское», я не обманываю. Бог мой! Вспоминаю не Сталина, а вспоминаю нашу жизнь… Я записалась в кружок и училась играть на аккордеоне. Маму за ударную работу наградили медалью. Не одни только мерзости были… и казарменная жизнь… В лагере папа часто видел образованных людей. Больше нигде он таких интересных людей не встречал. Некоторые из них писали стихи, и они чаще выживали. Как и священники, те молились. И папа хотел, чтобы все его дети получили высшее образование. Мечта его. Мы все — нас четверо детей — окончили институты. Но он научил нас и ходить за плугом, и косить траву. Я умею подать на воз сено, уложить стог. «Все может пригодиться», — считал папа. Он был прав.

Мне сейчас хочется вспоминать… Я хочу понять то, что прожито. Не только свою жизнь, а нашу… советскую… Я не в восторге от собственного народа. И от коммунистов тоже, и от наших коммунистических лидеров. Сегодня особенно. Все измельчали, обуржуазились, все хотят хорошо, сладко хотят жить. Потреблять и потреблять. Ухватить! Коммунисты тоже уже не те. У нас есть коммунисты с годовым доходом в сотни тысяч долларов. Миллионеры! Квартира в Лондоне… дворец на Кипре… Что это за коммунисты? В чем же их вера? Спросишь — как на дурочку посмотрят. «Не рассказывайте нам советские сказки. Вот этого не надо». Разрушили такую страну! Распродали по бросовым ценам. Нашу Родину… Чтобы кто-то мог ругать Маркса и ездить по европам. Время такое же страшное, как и при Сталине… Я отвечаю за свои слова! Напишете это? Не верю… (И я вижу — не верит.) Уже нет ни райкомов, ни обкомов. Расстались с советской властью. А что получили? Ринг, джунгли… Власть воров… Хватали — кто быстрее, пирог большой. Бог мой! Чубайс… «прораб перестройки»… теперь он хвастается, лекции по всему миру читает. Мол, в других странах капитализм складывался столетиями, а у нас за три года. Действовали хирургическим методом… А если кто-то наворовал, то и слава богу, может, их внуки будут порядочными людьми. Бррр! И это демократы… (Молчит.) Американский костюмчик примеряли, слушали дядю Сэма. А американский костюмчик не налазит. Криво сидит. Вот! Не за свободой побежали, а за джинсами… за супермаркетами… Купились на яркие упаковки… Теперь и у нас в магазинах полно всего. Изобилие. Но горы колбасы никак не связаны со счастьем. Со славой. Был великий народ! Сделали из него торгашей и мародеров… лабазников и менеджеров…

Пришел Горбачев… Заговорили о возвращении ленинских принципов. Общее воодушевление. Возбуждение. Народ давно ждал перемен. В свое время поверили Андропову… Ну кагэбист, да… Как вам объяснить? КПСС уже не боялись. Возле пивного ларька мужики могли партию обматерить, а кагэбэ — никогда… Вы что! В памяти сидело… Знали, что железной рукой, каленым железом, ежовой рукавицей… эти ребята наведут порядок. Не хочется повторять банальные вещи, но Чингисхан гены нам испортил… и крепостное право… Привыкли, что бить всех надо, без битья ничего не получится. Андропов с этого и начал — с закручивания гаек. Все разболтались: в рабочее время ходили в кино, в баню, бегали по магазинам. Чаи распивали. Милиция стала рейды проводить, облавы. Проверяли документы и хватали прогульщиков прямо на улицах, в кафе, в магазинах и сообщали на работу. Штрафовали, увольняли. Но Андропов тяжело болел. Быстро умер. Мы их хоронили, хоронили. Брежнев, Андропов, Черненко… Самый популярный анекдот до Горбачева: «Передаем сообщение ТАСС. Вы будете сильно смеяться, но умер очередной Генеральный секретарь ЦК КПСС…» Ха-ха-ха… Народ на своих кухнях смеялся, а мы на своих. На пятачке свободы. Кухонная болтовня… (Смеется.) Отлично помню, как во время разговоров включали громко телевизор или радио. Целая наука. Учили друг друга, как ухитриться, чтобы гэбистам, прослушивающим телефонные разговоры, ничего не было слышно: прокручиваешь диск — старые телефоны были с дырочками для цифр — вставляешь в одну из них карандаш и фиксируешь… можно пальцем держать, но палец же устает… Наверное, вас тоже учили? Помните? Надо что-нибудь «секретное» сказать, отходили на два-три метра от телефона, от трубки. Стукачество, прослушка — это было везде, во всем обществе сверху и донизу, и мы в райкоме гадали: кто у нас стукач? Как потом выяснилось, подозревала я невинного человека, а доносчик был не один, их было несколько. Вот на этих я никогда бы не подумала… Одна из них — наша уборщица. Приветливая, добрая женщина. Несчастная.

Муж — пьяница. Бог мой! Сам Горбачев… генеральный секретарь ЦК КПСС… Читала в одном его интервью, как во время конфиденциальных бесед у себя в кабинете он делал то же самое — включал телевизор на всю громкость или радио. В общем, азбука. Приглашал для серьезных разговоров на свою дачу за город. И они там… Там они выходили в лес, гуляли и разговаривали. Птички не донесут… Все чего-то боялись, боялись и те, кого боялись. Я боялась.

Последние советские годы… Что я помню? Чувство стыда не покидало. За обвешенного орденами и «звездами» Брежнева и за то, что Кремль в народе прозвали комфортабельным домом престарелых. За пустые прилавки. Планы выполняем и перевыполняем, а в магазинах ничего нет. Где наше молоко? Мясо? Я и теперь не понимаю, куда это все девалось. Молоко кончалось через час после того, как открывались магазины. С обеда продавцы стояли возле чисто вымытых лотков. На полках — трехлитровые банки березового сока и пачки соли, почему-то всегда мокрые. Килька в банках. Все! Выбросят в продажу колбасу — ее разметут в момент. Сосиски и пельмени — деликатес. В райкоме все время что-то делили: этому заводу — десять холодильников и пять шуб, а этому колхозу — два югославских мебельных гарнитура и десять польских женских сумочек. Кастрюли и женское белье делили… колготки… Такое общество могло держаться только на страхе. На чрезвычайке — побольше стрелять и побольше сажать. Но социализм с Соловками и Беломорканалом кончился. Нужен был какой-то другой социализм.

Перестройка… Был момент, когда люди снова потянулись к нам. Вступали в партию. Большие у всех ожидания. Все тогда были наивные — левые и правые, коммунисты и антисоветчики. Все — романтики. Сегодня за это стыдно, за ту свою наивность. Молятся на Солженицына. Великий старец из Вермонта! Не один Солженицын, многие уже понимали, что так, как мы живем, жить нельзя. Заврались. И коммунисты — верите вы мне или нет? — тоже это понимали. Среди коммунистов было немало умных и честных людей. Искренних. Я лично знала таких людей, особенно часто они встречались в провинции. Как мой отец… Отца не приняли в партию, он пострадал от партии, но он ей верил. Верил партии и стране. Каждое утро у него начиналось с того, что он открывал газету «Правда» и прочитывал ее от и до. Коммунистов без партбилетов было больше, чем с партбилетами, они душой были коммунисты. (Молчит.) На всех демонстрациях несли лозунг «Народ и партия — едины!». Эти слова — не выдумка, это была правда. Я никого не агитирую, я рассказываю, как оно было. Уже все забыли… Многие вступали в партию по совести, а не только из-за карьеры или из прагматических соображений: если я беспартийный и украду — меня посадят, если я вступлю в партию и украду — меня выгонят из партии, но не посадят. Я негодую, когда о марксизме отзываются презрительно, с насмешкой. Скорее его — в мусорный бачок! На свалку! Это великое учение, оно переживет все гонения. И нашу советскую неудачу — тоже. Потому что… есть много причин… Социализм — это не только лагеря, стукачество и железный занавес, это и справедливый, ясный мир: со всеми делиться, слабых жалеть, сострадать, а не подгребать все под себя. Мне говорят: нельзя было купить машину, но ни у кого не было машины. Никто не носил костюмы от Версаче и не покупал дом на Лазурном берегу. Бог мой! Вожди СССР жили на уровне бизнесменов средней руки, до олигархов им не дотянуть. Слабо! Не строили они себе яхт с душем из шампанского. Подумать только! По телевизору передают рекламу: покупайте медные ванны — стоимостью с двухкомнатную квартиру. Для кого они, скажите? Позолоченные дверные ручки… Это — свобода? Маленький, рядовой человек — никто, он — ноль. На дне жизни. А тогда он мог написать в газету, пойти и пожаловаться в райком: на начальника или на плохое обслуживание… на неверного мужа… Были глупости, не отрицаю, но кто сегодня этого простого человека вообще слушает? Кому он нужен? Помните советские названия — улица Металлургов, Энтузиастов… Заводская, Пролетарская… Маленький человек… он был главный… Декларация, ширма, как вы говорите, а сейчас и прятаться никому не надо. Нет денег — пошел вон! Под лавку! Улицы переименовывают: Мещанская, Купеческая, Дворянская… Даже колбасу я видела «Княжескую», а вино «Генеральское». Культ денег и успеха. Выживает сильнейший, с железными бицепсами. Но не все способны идти по головам, вырывать кусок у другого. У одних природа такая, что они не могут, а другим противно.

С ней… (кивает в сторону подруги) спорим, конечно… Она мне доказывает, что для истинного социализма требуются идеальные люди, а их нет. Идея — это бред… сказка… Наш человек уже ни за что не поменяет свою потрепанную иномарку и паспорт с шенгенской визой на советский социализм. А я верю в другое: человечество идет в сторону социализма. К справедливости. Другого пути нет. Посмотрите на Германию… Францию… Есть шведский вариант. А какие ценности у русского капитализма? Презрение к «людишкам»… К тем, у кого нет миллиона, нет «мерседеса». Вместо красного флага — Христос воскрес! И культ потребления… Человек засыпает с мыслью не о чем-то таком высоком, а о том, что он сегодня чего-то не купил. Вы думаете, что страна развалилась, потому что узнали правду о ГУЛАГе? Так думают те, кто книги пишет. А человек… нормальный человек историей не живет, он живет проще: влюбился, женился, дети родились. Дом построил. Страна пропала из-за дефицита женских сапог и туалетной бумаги, из-за того, что апельсинов не было. Этих джинсов проклятых! Теперь наши магазины похожи на музеи. На театры. И меня хотят убедить, что тряпки от Версаче и Армани — это все, что необходимо человеку. Ему этого достаточно. Жизнь — это финансовые пирамиды и векселя. Свобода — это деньги, а деньги — свобода. А наша жизнь копейки не стоит. Ну, это… ну, это… понимаете… Я даже слов не нахожу, как назвать… Мне жалко моих маленьких внучек. Жалко. Им это по телевизору каждый день вбивают в голову. Я не согласна. Я была и остаюсь коммунисткой.

Прерываемся надолго. Неизменный чай, на этот раз с вишневым вареньем, сваренным по собственному рецепту хозяйки.

Восемьдесят девятый год… Я к этому времени уже была секретарем райкома партии. На партработу меня взяли из школы, я преподавала русский язык и литературу. Моих любимых писателей — Толстого, Чехова… Когда предложили — испугалась. Такая ответственность! Но ни минуты не колебалась, был искренний порыв — служить партии. В то лето я приехала домой в отпуск. Обычно украшений не ношу, а тут купила себе какие-то бусы дешевенькие, мама меня увидела: «Ты — как царица». Была мной восхищена… ну не бусами же! Папа сказал: «Никто из нас тебя ни о чем просить не придет. Ты должна быть чистой перед людьми». Родители гордились! Были счастливы! А я… я… что переживала я? Верила ли я партии? Честно отвечу — верила. И сейчас верю. С партийным билетом не расстанусь, что бы ни случилось. Верила ли я в коммунизм? Честно скажу, не буду врать: я верила в возможность справедливого устройства жизни. И сейчас… я уже говорила… верю. Мне надоело слушать рассказы о том, как нам плохо жилось при социализме. Горжусь советским временем! Шикарной жизни не было, но нормальная жизнь была. Была любовь и дружба… платья и туфли… Жадно слушали писателей и артистов, а теперь перестали. Место поэтов на стадионах заняли колдуны и экстрасенсы. Колдунам верят, как в Африке. Наша… советская жизнь… это была попытка альтернативной цивилизации, если хотите. Если с пафосом… Власть народа! Ну не могу успокоиться! Где вы сегодня увидите доярок, токарей или машинистов метро? Нет их — ни на страницах газет, ни на экранах телевизоров, ни в Кремле, когда вручают ордена и медали. Нигде их нет. Везде новые герои: банкиры и бизнесмены, модели и интердевочки… менеджеры… Молодые еще могут приспособиться, а старики умирают молча, за закрытыми дверями. В нищете умирают, в забвении. У меня пенсия — пятьдесят долларов… (Смеется.) И у Горбачева, я читала, пятьдесят долларов… Про нас говорят: «Коммунисты жили в хоромах, ели черную икру ложками. Себе они построили коммунизм». Бог мой! Я вас водила по своим «хоромам» — обычная двухкомнатная квартира, общая площадь — пятьдесят семь метров. Ничего не спрятала: советский хрусталь, советское золото…

— А спецполиклиники и спецпайки, «свои» очереди на получение квартир и казенные дачи… партийные санатории?

— Честно? Было это… ну было… но больше там… (Поднимает руку вверх.) А я всегда внизу, самое нижнее звено власти. Внизу, возле людей. Всегда на виду. Если где-то и было… не спорю… Не отрицаю! Читала, как и вы, в перестроечных газетах… что дети секретарей ЦК летали охотиться в Африку. Бриллианты скупали… Все равно не сравнить это с тем, как живут сейчас «новые русские». С их замками и яхтами. Посмотрите, что понастроили они вокруг Москвы. Дворцы! Двухметровые каменные заборы, проволока с электрическим током, видеонаблюдение. Вооруженные охранники. Как в зоне или на секретном военном объекте. Что, там Билл Гейтс живет, компьютерный гений? Или Гарри Каспаров, чемпион мира по шахматам? Там живут победители. Гражданской войны вроде как не было, а победители есть. Там они — за каменным забором. От кого они прячутся? От народа? Народ думал, что прогонит коммунистов и наступят прекрасные времена. Райская жизнь. Вместо свободных людей появились эти… с миллионами и миллиардами… Гангстеры! Стреляют средь бела дня… Даже у нас одному бизнесмену балкон разнесли. Никого не боятся. Летают в личных самолетах с позолоченными унитазами, еще и хвастаются. Сама видела по телевизору… один показывал свои часы ценой в бомбардировщик.

А другой — мобильник с бриллиантами. И никто! никто не крикнет на всю Россию, что это стыдно. Мерзко. Когда-то были Успенский и Короленко. Шолохов написал Сталину письмо в защиту крестьян. Теперь я хочу… Вы меня спрашиваете, а я хочу у вас спросить: где наша элита? Почему я читаю каждый день в газетах мнение по любому поводу Березовского и Потанина, а не Окуджавы… Искандера… Как так случилось, что вы уступили свое место? Свою кафедру… И первыми побежали к объедкам со стола олигархов. В услужение. Русская интеллигенция раньше не бегала и не прислуживала. А теперь никого не осталось — нет никого, кто скажет про дух, кроме попа. А где перестройщики?

У коммунистов моего поколения было мало общего с Павкой Корчагиным. С первыми большевиками с портфелями и револьверами. От них осталась только военная лексика: «солдаты партии», «трудовой фронт», «битва за урожай». Мы уже не чувствовали себя солдатами партии, мы были служащие партии. Клерки. Существовал такой обряд — светлое будущее: в актовом зале висел портрет Ленина, в углу стояло красное знамя. Обряд… ритуал… Солдаты были уже не нужны, требовались исполнители: «давай-давай», а нет — так «партбилет на стол». Приказали — сделал. Доложил. Партия не военный штаб, а аппарат. Машина. Бюрократическая машина. Гуманитариев на службу брали редко, партия им не доверяла со времен Ленина, который писал об интеллигентском сословии: «не мозг, а говно нации». Таких, как я, было мало. Филологов. Кадры ковали из инженеров, зоотехников, из тех, чья специальность — машины, мясо и зерно, а не человек. Кузницы партийных кадров — сельскохозяйственные институты. Нужны были дети рабочих и крестьян. Из народа. Доходило до смешного: ветеринара, например, могли взять на партийную работу, а врача-терапевта — нет. Не встречала там ни лириков, ни физиков. Что еще? Субординация, как в армии… Подъем наверх медленный, со ступеньки на ступеньку: лектор райкома партии, затем — заведующий парткабинетом… инструктор… третий секретарь… второй секретарь… Я все ступени за десять лет прошла. Это сейчас младшие научные сотрудники и завлабы рулят страной, председатель колхоза или электрик становится президентом. Вместо колхоза — сразу страна! Такое случается только в революцию… (Вопрос — то ли ко мне, то ли к себе.) Не знаю, как назвать то, что произошло в девяносто первом…

Революция или контрреволюция? Никто не пробует даже объяснить, в какой стране мы живем. Какая у нас идея, кроме колбасы? Что строим… Идем вперед — к победе капитализма. Так? Сто лет ругали капитализм: чудовище… монстр… А теперь гордимся, что у нас будет как у всех. Если станем как все, кому мы будем интересны? Народ-богоносец… надежда всего прогрессивного человечества… (Иронично.) О капитализме у всех такое же представление, как недавно о коммунизме. Мечты! Судят Маркса… винят идею… Идея-убийца! А я виню исполнителей. У нас был сталинизм, а не коммунизм. А сейчас ни социализма, ни капитализма. Ни восточной модели, ни западной. Ни империи, ни республики. Болтаемся, как… Помолчу… Сталин! Сталин! Хоронят его… хоронят… А закопать никак не получается. Не знаю как в Москве, а у нас его портреты ставят под ветровое стекло в автомобилях. В автобусах. Дальнобойщики особенно его любят. В мундире генералиссимуса… Народ! Народ! А что народ? Народ сам про себя сказал: из него и дубина, и икона. Как из дерева… Что сделаешь, то и будет… Качается наша жизнь между бараком и бардаком. Сейчас маятник посредине… Полстраны ждет нового Сталина. Вот придет он и наведет порядок… (Опять молчит.) У нас… конечно… в райкоме тоже было много разговоров о Сталине. Партийная мифология. Ее передавали из поколения в поколение. Все любили разговоры о том, как жили при Хозяине… Сталинские порядки были такие: например, заведующим секторами ЦК разносили чай с бутербродами, а лекторам — просто чай. Ввели должность заместителя заведующего сектора. Как быть? Им решили подавать чай без бутербродов, но на белой салфетке. Уже они отмечены… взобрались на Олимп к богам, к героям. Теперь надо протиснуться к месту у корыта… Так было и при Цезаре, и при Петре Первом. И так будет всегда. Полюбуйтесь на своих демократов… Взяли власть и тут же бегом — куда? К кормушке. К рогу изобилия. Кормушка прикончила не одну революцию. На наших глазах… Ельцин боролся с привилегиями и называл себя демократом, а теперь любит, когда его величают царем Борисом. Стал крестным отцом…

Перечитала «Окаянные дни» Ивана Бунина. (Достает с полки книгу. Находит закладку и читает.) «Помню старика рабочего у ворот дома, где прежде были "Одесские Новости", в первый день водворения большевиков. Вдруг выскочила из-под ворот орава мальчишек с кипами только что отпечатанных "Известий" и с криками: "На одесских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов!" — Рабочий захрипел, захлебнулся от ярости и злорадства: "Мало! Мало!"». Вам это ничего не напоминает? Мне… да… Напоминает… Горбачевские годы… первые бунты… Когда народ стал вываливать на площади и требовать — то хлеба, то свободы… то водки и курева… Страх! Инсульты и инфаркты у многих партработников. «В кольце врагов», как партия учила, жили, в «осажденной крепости». К мировой войне готовились… Больше всего боялись ядерной войны, а развала не ждали. Не ждали… никак… Привыкли к майским и октябрьским колоннам, к плакатам: «Дело Ленина переживет века», «Партия — наш рулевой». А тут не колонны, а стихия. Не советский народ, а какой-то другой, незнакомый нам. И плакаты другие: «Коммунистов под суд!», «Раздавим коммунистическую гадину!» Сразу вспомнился Новочеркасск… Информация была закрытая, но мы знали… как при Хрущеве голодные рабочие вышли на улицы… их расстреляли… Тех, кто остался в живых, рассовали по лагерям, до сих пор их родные не знают, где они… А тут… тут уже перестройка… Стрелять нельзя, сажать тоже. Надо разговаривать. А кто из нас мог выйти к толпе и держать речь? Начать диалог… агитировать… Мы были аппаратчики, а не ораторы. Я, например, читала лекции и капиталистов клеймила, негров в Америке защищала. В моем кабинете стояло полное собрание сочинений Ленина… пятьдесят пять томов… Но кто его по-настоящему читал? Пролистывали в институтах перед экзаменами: «Религия — опиум народа» и «всякий боженька есть труположество».

Панический был страх… Лекторы, инструкторы, секретари райкомов и обкомов — все мы боялись выезжать к рабочим на завод, к студентам в общежитие. Пугались телефонных звонков. А вдруг спросят о Сахарове или о Буковском… что отвечать? Враги они советской власти или уже не враги? Как оценивать «Детей Арбата» Рыбакова и пьесы Шатрова? Никакой команды сверху… Раньше тебе сказали — ты выполнил поручение, провел линию партии в жизнь. А тут: бастуют учителя, требуют повышения зарплаты, молодой режиссер в каком-то заводском клубе репетирует запрещенную пьесу… Бог мой! На картонной фабрике рабочие на тачке вывезли за ворота своего директора. Горланили. Били стекла. Ночью зацепили железным тросом и свалили памятник Ленину. Показывали ему кукиши. Партия растерялась… Я помню растерянную партию… Сидели в своих кабинетах за закрытыми шторами. У входа в здание райкома днем и ночью дежурил усиленный наряд милиции. Боялись народа, а народ еще по инерции боялся нас. Потом бояться перестали… Собирались на площади тысячи людей… Плакат запомнила: «Даешь 1917 год! Революцию!». Была потрясена. Пэтэушники какие-то с ним стояли… молодые ребята… Птенцы! Один раз пришли в райком парламентеры: «Покажите свой спецмагазин! У вас там всего полно, а наши дети в голодные обмороки падают на уроках». Никаких норковых шуб и черной икры в нашем буфете они не нашли, но все равно не поверили: «Обманываете простой народ». Все пришло в движение. Зашаталось. Горбачев был слаб. Лавировал. Вроде он за социализм… и капитализма хочется… Больше думал о том, как понравиться в Европе. В Америке. Там ему аплодировали: «Горби! Горби! Ай да Горби!». Заболтал перестройку… (Молчит.)

Социализм умирал на наших глазах. И пришли эти мальчики железные.

Анна Ильинична:

— Это было недавно, но это было в другую эпоху… В другой стране… Там осталась наша наивность, наш романтизм. Доверчивость. Кто-то не хочет об этом вспоминать, потому что неприятно, мы пережили много разочарований. Ну кто сказал, что ничего не изменилось? Библию нельзя было перевезти через границу. Это забыли? В подарок из Москвы я возила родственникам в Калугу муку и макароны. И они были счастливы. Забыли? Никто уже не стоит в очереди за сахаром и мылом. И нет талонов на пальто.

Я полюбила Горбачева сразу! Теперь его проклинают: «Предатель СССР!», «Горбачев продал страну за пиццу!». А я помню наше удивление. Потрясение! Наконец-то у нас нормальный лидер. Не стыдно за него! Друг другу пересказывали, как в Ленинграде он остановил кортеж и вышел к народу, а на каком-то заводе отказался от дорогого подарка. Во время традиционного застолья выпил только стакан чаю. Улыбается. Выступает без бумажки. Молодой. Никто из нас не верил, что советская власть когда-нибудь кончится и в магазинах появится колбаса, а за импортными бюстгальтерами не будут выстраиваться километровые очереди. Привыкли всё по знакомству доставать: подписку на «всемирку», шоколадные конфеты и гэдээровские спортивные костюмы. Дружить с мясником, чтобы купить кусок мяса. Советская власть казалась вечной. Хватит еще на детей и внуков! А она неожиданно для всех кончилась. Теперь ясно, что и сам Горбачев этого не ожидал, он хотел что-то изменить, но не знал — как. Никто не был готов. Никто! Даже те, кто долбил эту стену. Я — рядовой технолог. Не герой, нет… и не коммунистка… Благодаря своему мужу, он — художник, я рано попала в богемную среду. Поэты, художники… Среди нас не было героев, ни у кого не хватило смелости стать диссидентом, отсидеть в тюрьме или в психушке за свои убеждения. Жили с фигой в кармане.

Сидели на кухнях, ругали советскую власть и травили анекдоты. Читали самиздат. Если кто-то доставал новую книгу, он мог прийти в дом к друзьям в любое время суток — даже в два-три часа ночи, все равно это был желанный гость. Я хорошо помню ту ночную московскую жизнь… особенную… Там были свои герои… свои трусы и предатели… Свой восторг! Объяснить это человеку непосвященному невозможно. Прежде всего наш восторг я не могу объяснить. И не могу объяснить другое… Вот это… Ночная наша жизнь… ну совсем она не была похожа на дневную. Ни капли! Утром мы все шли на работу и становились обыкновенными советскими людьми. Как и все остальные. Пахали на режим. Либо ты конформист, либо тебе надо идти в дворники и сторожа, другого способа сохранить себя не было. Возвращались со службы домой… И опять пили водку на кухнях, слушали запрещенного Высоцкого. Ловили сквозь треск глушилок «Голос Америки». Я до сих пор помню этот великолепный треск. Крутили бесконечные романы. Влюблялись, разводились. И многие при этом чувствовали себя совестью нации, считали, что вправе поучать свой народ. А что мы о нем знали? То, что прочитали в «Записках охотника» Тургенева и у наших «деревенщиков». У Распутина… Белова… Я даже своего отца не понимала. Кричала ему: «Папа, если ты не вернешь им свой партбилет, то я с тобой разговаривать не буду». Папа плакал.

У Горбачева было власти больше, чем у царя. Неограниченная власть. А он пришел и сказал: «Так больше жить нельзя». Его знаменитая фраза. И страна превратилась в дискуссионный клуб. Спорили дома, на работе, в транспорте. Из-за разных взглядов семьи распадались, дети ссорились с родителями. Одна моя знакомая так разругалась с сыном и невесткой из-за Ленина, что выгнала их на улицу, они жили зимой за городом на холодной даче. Театры опустели, все сидели дома перед телевизором. Шли прямые репортажи с первого съезда народных депутатов СССР. Целая история, как мы выбирали этих депутатов. Первые свободные выборы! Настоящие! По нашему округу проходили две кандидатуры: какой-то партийный чиновник и молодой демократ, преподаватель университета. Помню и сейчас его фамилию — Малышев… Юра Малышев. Сейчас он, я случайно узнала, занимается агробизнесом — помидорами и огурчиками торгует. А тогда — революционер! Выступал и говорил такую крамолу! Неслыханную! Марксистско-ленинскую литературу называл малолитражной… нафталинной… Шестую статью Конституции требовал отменить, а это статья о руководящей роли КПСС. Краеугольный камень марксизма-ленинизма… Я слушала и не могла себе это представить. Бредятина! Кто даст… позволит тронуть? Все развалится… Это же скрепы… Настолько мы были все зомбированные. Я советского человека выдавливала из себя годами, ведрами вычерпывала. (Молчит.) Наша команда… Нас набралось человек двадцать добровольных помощников, после работы мы обходили квартиры в своем районе и агитировали. Рисовали плакаты: «Голосуй за Малышева!». И представьте себе — он победил! С большим перевесом. Первая наша победа! Потом мы все балдели от прямых репортажей со съезда — депутаты высказывались еще более откровенно, чем мы на кухнях. Или не дальше двух метров от кухни. Все торчали у телевизоров, как наркоманы. Не могли оторваться. Вот сейчас Травкин им даст! Да-а-ал! А Болдырев? Сейчас он… Во молодец!

Неописуемая страсть к газетам и журналам, к периодике больше, чем к книгам. Тиражи «толстых журналов» рванули вверх до миллиона экземпляров. Утром в метро изо дня в день перед глазами одна и та же картина: весь вагон сидит и читает. Те, кто стоят, тоже читают. Обмениваются друг с другом газетами. Незнакомые люди. Мы с мужем выписывали двадцать наименований, одну зарплату полностью тратили на подписку. С работы я бежала скорей домой, чтобы залезть в халат и читать. Недавно умерла моя мама, она говорила: «Я умираю, как крыса на помойке». Ее однокомнатная квартира напоминала читальный зал: журналы, газеты — стопками на книжных полках, в шкафу. На полу и в прихожей. Драгоценный «Новый мир» и «Знамя»… «Даугава»… Всюду — коробки вырезок. Большие коробки. Я отвезла все на дачу. Выбросить жалко, отдать — кому? Макулатура сейчас! А все читано-перечитано. Много подчеркиваний — красным карандашом, желтым. Красным — самое важное. Полтонны, я думаю, у меня лежит. Вся дача забита.

Вера была искренняя… наивная вера… Поверили, что вот сейчас… уже стоят на улице автобусы, которые повезут нас в демократию. Будем жить в красивых домах, а не в серых «хрущевках», построим автобаны вместо раздолбанных дорог, станем все добрыми. Рациональных доказательств этому никто не искал. Их и не было. А зачем? Верили сердцем, а не рассудком. И голосовали на избирательных участках сердцем. Никто конкретно не говорил, что надо делать: свобода — и все. Если ты сидишь в закрытом лифте, то мечтаешь об одном — чтобы лифт открылся. У тебя счастье, когда его открыли. Эйфория! Ты не думаешь о том, что ты сейчас должен что-то делать… ты наконец дышишь полной грудью… Ты уже счастлив! Моя подруга вышла замуж за француза, он работал в московском посольстве. И вот он все время от нее слышал: посмотри, мол, какая у нас, у русских, энергия. «Ты мне объясни, для чего эта энергия?» — спрашивал он у нее. Ни она, ни я не могли ничего ему объяснить. Я ему так и отвечала: бьет энергия — и все. Я видела вокруг себя живых людей, живые лица. Какие все были в то время красивые! Откуда взялись эти люди? Вчера же их еще не было!

Телевизор у нас в доме не выключался… Программу «Новости» смотрели каждый час. У меня только родился сын, я выходила с ним во двор и обязательно брала с собой приемник. Люди собак прогуливали с приемниками. Смеемся теперь над сыном: ты у нас с детства в политике, — а ему это не интересно. Слушает музыку, учит языки. Хочет увидеть мир. Другим живет. Наши дети не похожи на нас. На кого они похожи? На свое время, друг на друга. А мы тогда… Ой-ой! Сейчас Собчак на съезде выступает… Все бросают дела и бегут к экрану. Мне нравилось, что Собчак в каком-то красивом, кажется, вельветовом пиджаке, галстук завязан «по-европейски». Сахаров на трибуне… Значит, у социализма может быть «человеческое лицо»? Вот оно… Для меня это было лицо академика Лихачева, а не генерала Ярузельского. Если я говорила «Горбачев», то мой муж добавлял «Горбачев… и Раиса Максимовна тоже». Первый раз мы увидели жену генсека, за которую было не стыдно. Красивая фигура, хорошо одета. Любят друг друга. Кто-то принес нам польский журнал, где писалось, что Раиса — шик! Как мы гордились! Бесконечные митинги… Улицы утопали в листовках. Кончался один митинг, начинался другой. Люди шли и шли, каждый думал, что он придет туда и получит какое-то откровение. Вот сейчас правильные люди найдут правильные ответы.. Впереди ждала неизвестная жизнь, она всех привлекала. Казалось, что царство свободы уже на пороге…

Но жизнь становилась все хуже. Скоро, кроме книг, ничего уже нельзя было купить. Одни книги на прилавках…

Елена Юрьевна:

Девятнадцатого августа девяносто первого… Приезжаю в райком. Иду по коридору и слышу: во всех кабинетах, на всех этажах включено радио. Секретарша передает просьбу «первого» зайти к нему. Захожу. У «первого» громко работает телевизор, сам он, мрачный, сидит возле приемника, ловит то «Свободу», то «Немецкую волну»… «Би-би-си»… Все, что доступно. На столе список членов Государственного комитета по чрезвычайному положению… ГКЧП… как его потом назовут. «Один Варенников, — говорит он мне, — внушает уважение. Все-таки боевой генерал. Воевал в Афганистане». Заходят второй секретарь… заведующий орготделом… Начинается у нас разговор: «Какой ужас! Будет кровь. Зальемся кровью». — «Всех не зальют, а зальют кого надо». — «Давно пора спасать Советский Союз». — «Навалят горы трупов». — «Ну все, Горбач допрыгался. Наконец-то нормальные люди, генералы, придут к власти. Бардак кончится». «Первый» объявил, что утреннюю планерку решил не проводить — о чем докладывать? Никаких указаний не поступило. При нас он позвонил в милицию: «Что у вас слышно?» — «Ничего». Еще поговорили о Горбачеве — то ли болен, то ли арестован. Все больше склонялись к третьему варианту — удрал с семьей в Америку. А куда же еще?

Так весь день и просидели у телевизоров и телефонов. Тревожно: чья там, наверху, возьмет? Ждали. Я вам честно скажу, ждали. Все это немного напоминало свержение Хрущева. Мемуаров-то уже начитались… Разговоры, разумеется, об одном… Какая свобода? Свобода нашему человеку — как мартышке очки. Никто не знает, что с ней делать. Все ларечки эти, базарчики… ну не лежит к ним душа. Я вспомнила, как пару дней назад встретила своего бывшего водителя. Такая история… К нам в райком парень попал сразу после армии. По какому-то крупному блату. Был страшно доволен. Но начались перемены, разрешили кооперативы, и он от нас ушел. Занялся бизнесом. Я с трудом его узнала: стриженный наголо, кожаная куртка, спортивный костюм. Это у них, как я поняла, униформа такая. Похвастался, что за один день зарабатывает больше, чем первый секретарь райкома партии за месяц. Бизнес беспроигрышный — джинсы. Арендовали с другом обычную прачечную и там делают «варенки». Технология простая (голь на выдумки хитра): обыкновенные, банальные джинсы бросают в раствор отбеливателя или хлорки, добавляют туда битый кирпич. Пару часов «варят» — на брюках полосы, разводы, рисунки… Абстракционизм! Просушивают и приклеивают лейбл «Монтана». Меня сразу осенило: если ничего не изменится, они, эти продавцы джинсов, будут скоро нами командовать. Нэпманы! И накормят всех, и оденут, как это ни смешно. В подвалах заводы построят… Так оно и вышло. Вот! Теперь этот парень — миллионер или миллиардер (для меня миллион и миллиард одинаково сумасшедшая сумма), депутат Госдумы. Один дом на Канарах… второй — в Лондоне… При царе в Лондоне жили Герцен и Огарев, теперь они… наши «новые русские»… Джинсовые, мебельные, шоколадные короли. Нефтяные.

В девять вечера «первый» еще раз собрал всех у себя. Докладывал начальник районного КГБ. Рассказал о настроениях среди людей. По его словам, народ поддерживал ГКЧП. Не возмущался. Горбачев всем надоел… Талоны на все, кроме соли… водки нет… Ребята из КГБ побегали по городу и записали разговоры. Перепалки в очередях: «Переворот! Что будет со страной?» — «А что у тебя-то перевернулось? Кровать на месте стоит. Водка — та же». — «Вот и кончилась свобода». — «Ага! Свобода по ликвидации колбасы». — «Кому-то захотелось жвачки. "Мальборо" курить». — «Давно пора! Страна на грани краха!» — «Иудушка Горбачев! Хотел продать Родину за доллары». — «Кровушка потечет…» — «А без крови у нас нельзя…» — «Чтобы спасти страну… партию… нужны джинсы. Красивое женское белье и колбаса, а не танки». — «Хорошей жизни захотели? Хрен вам! Забудьте!» (Молчит.)

Одним словом, народ ждал… как и мы… В партбиблиотеке детективов к концу дня уже не было, все разобрали. (Смеется.) Ленина бы нам всем читать, а не детективы. Ленина и Маркса. Наших апостолов.

Запомнила пресс-конференцию ГКЧП… У Янаева дрожали руки. Сидел и оправдывался: «Горбачев заслуживает всяческого уважения… он — мой друг…» Глаза бегают… испуганные глаза… У меня упало сердце. Не те это люди, которые бы могли… которых ждали… Пигмеи… обыкновенные партаппаратчики… Спасать страну! Спасать коммунизм! Некому спасать… На экране: московские улицы — море людей. Море! На поездах, пригородных электричках народ рванул в Москву. Ельцин на танке. Раздает листовки… «Ельцина! Ельцина!» — скандирует толпа. Триумф! (Теребит нервно край скатерти.) Скатерть вот… китайская… Весь мир заполнен китайскими товарами. Китай — страна, где ГКЧП победил… А где мы? Страна третьего мира. Где те, кто кричал: «Ельцин! Ельцин!»? Они думали, что будут жить как в Америке и Германии, а живут — как в Колумбии. Мы проиграли… проиграли страну… А нас, коммунистов, в то время насчитывалось пятнадцать миллионов! Партия могла… ее предали… На пятнадцать миллионов не нашлось ни одного лидера. Ни одного! А на той стороне лидер был. Был — Ельцин! Бездарно все проиграли! Полстраны ждало, что мы победим. Одной страны уже не было. Уже было — две.

Те, кто называл себя коммунистами, вдруг стали признаваться, что они ненавидели коммунизм с пеленок. Сдавали свои партбилеты… Одни приносили и оставляли партбилеты молча, другие хлопали дверью. Подбрасывали ночью к зданию райкома… Как воры. Проститесь с коммунизмом честно. Нет — тайком. Утром дворники ходили и собирали по двору — партбилеты, комсомольские удостоверения — и приносили нам. Приносили в пакетах, в больших целлофановых мешках… Что с этим делать? Куда сдавать? Команды нет. Сверху — никаких сигналов. Мертвая тишина. (Задумалась.) Такое это было время… люди начали менять все… Абсолютно все. Вчистую. Одни уезжали — меняли родину. Другие меняли убеждения и принципы. Третьи меняли вещи в доме, вещи меняли повально. Старое советское выбрасывали, покупали все импортное… «Челноки» тут же всего навезли: чайники, телефоны, мебель… холодильники… Откуда-то всего появилось навалом. «У меня стиральная машина "Бош"». — «А я купил телевизор "Сименс"». В каждом разговоре звучало: «Панасоник», «Сони»… «Филипс»… Встретила соседку: «Стыдно радоваться немецкой кофемолке… А я счастлива!» Она же только… вот только… ночь стояла в очереди за томиком Ахматовой, теперь с ума сходит от кофемолки. От какой-то ерунды… И с партбилетом расставались — как с ненужной вещью. Трудно было поверить… Но за несколько дней все поменялось. Царская Россия, как читаешь в мемуарах, слиняла за три дня, и коммунизм тоже. За пару дней. В голове не укладывалось… Находились, правда, и такие, кто прятал свои красные книжечки, приберегал на всякий случай. Недавно в одной семье мне достали с антресолей бюст Ленина. Хранят… вдруг еще пригодится… Вернутся коммунисты, они первые нацепят алый бант. (Молчит долго.) У меня на столе лежали сотни заявлений о выходе из партии… Все это в скором времени сгребли и вынесли как мусор. Сгнило на свалке. (Что-то ищет в папках на столе.) Я пару листочков сохранила… Когда-нибудь их попросят у меня для музея. Будут искать… (Зачитывает.)

«…я была преданной комсомолкой… с искренним сердцем вступила в партию. Теперь хочу сказать, что партия больше не имеет никакой власти надо мной…»

«…время ввело меня в заблуждение… Я верила в Великую Октябрьскую революцию. Прочитав Солженицына, я поняла, что "прекрасные идеалы коммунизма" все в крови. Это обман…»

«…меня заставил вступить в партию страх… Ленинские большевики расстреляли моего дедушку, а сталинские коммунисты уничтожили в мордовских лагерях моих родителей…»

«…от своего имени и от имени моего покойного мужа заявляю о своем выходе из партии…»

Это надо было пережить… не сдохнуть от ужаса… В райкоме стояли очереди, как в магазине. Очереди желающих вернуть партбилеты. Ко мне пробилась простая женщина. Доярка. Она плакала: «Что мне делать? Как поступить? В газетах пишут, что партбилеты надо выбрасывать». Оправдывалась она тем, что у нее трое детей, она за них боится. Кто-то распускал слухи, что коммунистов будут судить. Высылать. Уже ремонтируют в Сибири старые бараки… в милицию поступили наручники… кто-то видел, как их сгружали из грузовиков, крытых брезентом. Жуткие вещи, да! Но я запомнила и настоящих коммунистов. Преданных идее. Молодого учителя… Незадолго до ГКЧП его приняли в партию, но билет не успели вручить, он просил: «Вас скоро опечатают. Выпишите мне сейчас партбилет, а то я его никогда не получу». В этот момент люди особенно ярко проявлялись. Пришел фронтовик… Весь в боевых орденах. Иконостас на груди! Вернул он партбилет, который ему вручили на фронте, со словами: «Не хочу быть в одной партии с этим предателем Горбачевым!». Ярко… ярко… люди показывали себя. И чужие, и знакомые. И даже родственники. Раньше встретят: «Ах, Елена Юрьевна!», «Как ваше здоровье, Елена Юрьевна?». А тут увидят издали и переходят на другую сторону улицы, чтобы не поздороваться. Директор лучшей школы в районе… Незадолго до всех этих событий мы проводили у него в школе научную партконференцию по книгам Брежнева «Малая земля» и «Возрождение». Тогда он выступил с блестящим докладом о руководящей роли коммунистической партии в годы Великой Отечественной войны… и лично товарища Брежнева… Я ему вручила грамоту райкома партии. Верный коммунист! Ленинец! Бог мой! Месяца не прошло… Встретил меня на улице и начал оскорблять: «Кончилось ваше время! За все ответите! Первым делом — за Сталина!». Я задохнулась от обиды… Это он — мне! Мне? Мне, у которой отец в лагере сидел… (Несколько минут успокаивается.) Сталина я никогда не любила. Отец простил, а я нет. Я не простила… (Молчит.) Реабилитацию «политических» начали после Двадцатого съезда. После доклада Хрущева… А это… А это уже было при Горбачеве… Меня назначили председателем районной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Я знаю, что сначала предлагали другим: нашему прокурору и второму секретарю райком партии. Отказались. Почему? Может, побоялись. У нас до сих пор боятся всего, что связано с КГБ. А я ни минуты не колебалась — да, я согласна. У меня отец пострадал. Чего мне бояться? Первый раз повели куда-то в подвал… Десятки тысяч папок… Одно «дело» — два листка, а другое — том. Как в тридцать седьмом году был план… разверстка… по «выявлению и выкорчевке врагов народа», так в восьмидесятые годы по районам и областям спускали цифры по реабилитации. План надо было выполнить и перевыполнить. Стиль сталинский: совещания, накачки, выговоры. Давай-давай… (Качает головой.) Ночами сидела и читала, переворачивала тома. Честно... честно скажу… Волосы становились дыбом… Брат писал на брата, сосед на соседа… Поругались из-за огорода, из-за комнаты в коммуналке. Спел на свадьбе частушку: «Спасибо Сталину-грузину, что обул нас всех в резину». Этого было достаточно. С одной стороны, система кромсала человека, а с другой — люди не жалели друг друга. Человек был готов…

Обычная коммуналка… Живут вместе пять семей — двадцать семь человек. Одна кухня и один сортир. Две соседки дружат: у одной девочке пять лет, а вторая — одинокая. В коммуналках, обычное дело, следили друг за другом. Подслушивали. Те, у кого комната десять метров, завидовали тем, у кого она двадцать пять метров. Жизнь… она такая… И вот ночью приезжает «черный ворон»… Женщину, у которой маленькая девочка, арестовывают. Перед тем, как ее увели, она успела крикнуть подруге: «Если не вернусь, возьми мою дочку к себе. Не отдавай в детдом». И та забрала ребенка. Переписали ей вторую комнату… Девочка стала звать ее мамой… «мамой Аней»… Прошло семнадцать лет… Через семнадцать лет вернулась настоящая мама. Она целовала руки и ноги своей подруге. Сказки обычно кончаются на этом месте, а в жизни была другая концовка. Без хэппи-энда. При Горбачеве, когда открыли архивы, у бывшей лагерницы спросили: «Вы хотите посмотреть свое

дело?» — «Хочу». Взяла она свою папку… открыла… Сверху лежал донос… знакомый почерк… Соседка… «мама Аня»… написала донос… Вы что-нибудь понимаете? Я — нет. И та женщина — она тоже не смогла понять. Пришла домой и повесилась. (Молчит.) Я — атеистка. У меня к Богу много вопросов… Я помню… Я вспоминаю папины слова: «Лагерь пережить можно, а людей нет». Еще он говорил: «Умри ты сегодня, а я завтра, — эти слова я не в лагере первый раз услышал, а от нашего соседа. От Карпуши…» Карпуша всю жизнь ругался с родителями из-за наших кур, которые ходили по его грядкам. Бегал под нашими окнами с охотничьим ружьем… (Молчит. )

Двадцать третьего августа… Арестовали членов ГКЧП. Застрелился министр внутренних дел Пуго… перед этим он застрелил свою жену… Люди радовались: «Пуго застрелился!» Повесился в своем кремлевском кабинете маршал Ахромеев. Еще было несколько странных смертей… Управляющий делами ЦК Николай Кручина выпал из окна пятого этажа… Самоубийства или убийства? Гадают до сих пор… (Молчит.) Как жить? Как выйти на улицу? Вот просто выйти на улицу и кого-нибудь встретить. Я тогда… Уже несколько лет я жила одна. Дочь вышла замуж за офицера, уехала во Владивосток. Муж умер от рака. Вечером возвращалась в пустую квартиру. Я не слабый человек… Но мысли всякие… страшные… они появлялись… Честно скажу… Были, да… (Молчит.) Еще какое-то время мы ходили на работу в райком. Закрывались там в своих кабинетах. Смотрели новости по телевизору. Ждали. На что-то надеялись. Где наша партия? Наша непобедимая ленинская партия! Мир рухнул… Звонок из одного колхоза: мужики с косами и вилами, с охотничьими ружьями — у кого что было, собрались возле конторы защищать советскую власть. «Первый» приказал: «Отправьте людей по домам». Испугались… мы все испугались… А люди были настроены решительно. Я несколько таких фактов знаю. А мы испугались…

И вот… этот день… Позвонили из райисполкома: «Мы обязаны опечатать ваши кабинеты. У вас два часа, чтобы собрать свои вещи». (Не может от волнения говорить.) Два часа… два… Кабинеты опечатывала специальная комиссия… Демократы! Какой-то слесарь, молодой журналист, мать пятерых детей… Я ее уже знала по митингам. По письмам в райком… в нашу газету… Жила она с большой семьей в бараке. Везде выступала и требовала квартиру. Проклинала коммунистов. Я запомнила ее лицо… Она в этот момент торжествовала… Когда они пришли к «первому», он запустил в них стулом. У меня в кабинете одна из членов комиссии подошла к окну и демонстративно разорвала штору. Чтобы я домой ее не забрала, что ли? Бог мой! Заставили открыть сумочку… Через несколько лет я встретила на улице эту мать пятерых детей. Даже имя ее сейчас вспомнила — Галина Авдей. Я ее спросила: «Получили вы квартиру?» Она погрозила кулаком в сторону здания областной администрации: «И эти подлецы меня обманули». Дальше… Дальше — что? На выходе из здания райкома нас ждала толпа: «Коммунистов — под суд! Теперь их — в Сибирь!», «Взять бы сейчас пулеметы и пройтись по окнам». Оборачиваюсь — за спиной у меня два подвыпивших мужика — это они… про пулемет… Отвечаю: «Только учтите, я буду отстреливаться». Рядом стоял милиционер и делал вид, что он ничего не слышит. Знакомый милиционер.

Все время было чувство… как будто слышу за спиной: у-у-у… Не я одна так жила… В школе к дочке нашего инструктора подошли две девочки из ее класса: «Мы с тобой дружить не будем. Твой папа в райкоме партии работал». — «Мой папа хороший». — «Хороший папа не мог там работать. Мы вчера на митинге были…» Пятый класс… дети… Уже они — гавроши, готовы подносить патроны. Инфаркт у «первого». Он умер в машине «скорой помощи», до больницы не довезли. Я думала, что, как раньше, будет много венков, оркестр, а тут — никого и ничего. Шли за гробом несколько человек… группа товарищей… Его жена заказала, чтобы на памятнике выбили серп и молот и первые строчки советского гимна: «Союз нерушимый республик свободных…». Над ней смеялись. Я все время слышала этот шепот: у-у-у… Думала, что сойду с ума… Незнакомая женщина в магазине: «Ну что, коммуняки, просрали страну!» — мне в лицо.

Что спасало? Спасали звонки… Звонок от подруги: «Если сошлют в Сибирь, ты не бойся. Там красиво». (Смеется.) Была она там в турпоездке. Ей понравилось. Звонок от двоюродной сестры из Киева: «Приезжай к нам. Я дам тебе ключи. Сможешь спрятаться у нас на даче. Тебя там никто не найдет». — «Я — не преступница. Не буду прятаться». Родители звонили каждый день: «Что ты делаешь?» — «Консервирую огурцы». Целыми днями банки кипятила. Закручивала. Не читала газеты и не смотрела телевизор. Читала детективы, одну книжку заканчивала и тут же начинала другую. Телевизор внушал ужас. Газеты тоже.

Долго не могла устроиться на работу… Все считали, что мы разделили деньги партии, и у каждого из нас — кусок нефтяной трубы или, на худой конец, маленькая автозаправка. Нет у меня ни автозаправки, ни магазинчика, ни киоска. Их теперь «комками» называют. «Комки», «челноки»… Великий русский язык не узнать: ваучер, валютный коридор… транш МВФ… На иностранном языке разговариваем. Я вернулась в школу. Перечитываю с учениками любимого Толстого и Чехова. Как у других? Судьбы у моих товарищей сложились по-разному… Один наш инструктор покончил самоубийством… У завпарткабинетом было нервное расстройство, лежал долго в

больнице. Кто-то стал бизнесменом… Второй секретарь — директор кинотеатра. А один инструктор райкома — священник. Я с ним встречалась. Разговаривала. Живет человек вторую жизнь. Позавидовала ему. Вспомнилось… Я была в художественной галерее… На одной картине, помню, много-много света — и женщина стоит на мосту. Смотрит куда-то вдаль… много-много света… Не хотелось от этой картины уходить. Уйду — и опять вернусь, меня к ней тянет. У меня тоже могла быть другая жизнь. Не знаю только — какая?

Анна Ильинична:

— Я проснулась от гула… Открываю окно… По Москве! По столице ползут танки и бэтээры. Радио! Скорее включить радио! По радио передавали обращение к советскому народу: «Над Родиной нависла смертельная опасность… Страна погружается в пучину насилия и беззакония… Очистим улицы от преступных элементов… Положим конец смутному времени…». Было непонятно — то ли Горбачев ушел в отставку по состоянию здоровья, то ли его арестовали. Звоню мужу, он на даче. «В стране государственный переворот Власть в руках…» — «Дура! Положи трубку, тебя сейчас заберут». Включаю телевизор. По всем каналам — балет «Лебединое озеро». А у меня перед глазами другие кадры, все мы дети советской пропаганды: Сантьяго в Чили… горит президентский дворец… Голос Сальвадора Альенде… Начались телефонные звонки: в городе полно военной техники, танки стоят на Пушкинской площади, на Театральной… У нас в это время гостила свекровь, она страшно испугалась: «Не выходи на улицу. Я жила при диктатуре, я знаю, что это такое». А я не хочу жить при диктатуре!

После обеда муж вернулся с дачи. Сидели на кухне. Много курили. Боялись прослушки телефона… положили на телефон подушку… (Смеется.) Начитались диссидентской литературы. Наслушались. Теперь вот оно пригодилось… Дали немного подышать, а сейчас все захлопнется. Загонят назад в клетку, вмажут нас снова в асфальт… будем как бабочки в цементе… Вспоминали недавние события на площади Тяньаньмэнь. Как саперными лопатками в Тбилиси разгоняли демонстрацию. Штурм телецентра в Вильнюсе… «Пока мы читали Шаламова и Платонова, — сказал муж, — началась гражданская война. Раньше спорили на кухнях, ходили на митинги, а теперь будем стрелять друг в друга». Настроение было такое… что-то катастрофическое близко… Радио ни на минуту не выключали, крутили-крутили — везде передавали музыку, классическую музыку. И вдруг — чудо! Заработало «Радио России»: «отстранен от власти законно избранный Президент… Совершена циничная попытка переворота…». Так мы узнали, что тысячи людей уже вышли на улицу. Горбачев в опасности… Идти или не идти — это даже не обсуждалось. Идти! Свекровь сначала меня отговаривала: подумай, мол, о ребенке, ты сумасшедшая, куда ты попрешься? Я молчала. Ну она видит, что мы собираемся: «Раз вы такие идиоты, то возьмите с собой хотя бы содовый раствор, будете смачивать марлю и прикладывать к лицу в случае газовой атаки». Я приготовила трехлитровую банку этого раствора, порвала одну простыню на куски. Еще мы взяли с собой все, что у нас было из еды, я выгребла из буфета все консервы.

Много людей, как и мы, шли к метро… А кто-то стоял в очереди за мороженым… Покупал цветы. Проходим мимо веселой компании… Ловлю слова: «Если завтра из-за танков не попаду на концерт, то я им этого никогда не прощу». Бежит навстречу мужчина в трусах и с авоськой, а в авоське — пустые бутылки. Поравнялся с нами: «Улицу Строительную — не подскажете?». Я показала ему, где надо свернуть направо, и дальше — прямо. Он: мол, спасибо. Ему все до фени, лишь бы бутылки сдать. А что, в 1917 году было иначе? Одни стреляли, а другие на балах танцевали. Ленин на броневике…

Елена Юрьевна:

— Фарс! Разыграли фарс! Победил бы ГКЧП, сегодня жили бы в другой стране. Если бы Горбачев не струсил… Не выдавали бы зарплату шинами и куклами. Шампунем. Выпускает завод гвозди — гвоздями. Мыло — мылом. Всем говорю: посмотрите на китайцев… У них свой путь. Ни от кого не зависят, никому не подражают. И весь мир сегодня боится китайцев… (Опять ко мне с вопросом.) Я уверена — мои слова вы вычеркнете.

Я обещаю — рассказа будет два. Хочу остаться хладнокровным историком, а не историком с зажженным факелом. Пусть судьей будет время. Время справедливо, но дальнее время, а не близкое. Время, которое уже будет без нас. Без наших пристрастий.

Анна Ильинична:

— Можно над этими днями посмеяться, назвать опереттой. Стеб в моде. А тогда все происходило всерьез. Честно. Все было настоящее, и все мы были настоящими. Безоружные люди стояли перед танками и готовы были умереть. Я сидела на этих баррикадах и видела этих людей, они приехали со всей страны. Какие-то старушки московские, божьи одуванчики, котлетки приносили, теплую картошку, завернутую в полотенце. Подкармливали всех… И танкистов тоже: «Ешьте, мальчики. Только не стреляйте. Неужели будете?» Солдаты ничего не понимали… Когда они открыли люки и вылезли из танков, они обалдели. На улицах — вся Москва! Девчонки взбирались к ним на броню, обнимали, целовали. Угощали булочками. Солдатские матери, у которых сыновья погибли в Афганистане, плакали: «Наши дети погибли на чужой земле, а вы что — приехали на своей земле умирать?» Какой-то майор… Когда его окружили женщины, у него сдали нервы, он кричал: «Да я сам отец. Я не буду стрелять! Клянусь вам — не буду! Против народа — не пойдем!» Там была масса смешных вещей и трогательных до слез. Вдруг крики в толпе: «Есть ли у кого-нибудь валидол, человеку здесь плохо». Тут же нашелся валидол. Стояла женщина с ребенком в коляске (видела бы это моя свекровь!), она достала пеленку, чтобы нарисовать на ней красный крест. Чем? «У кого есть помада?» Ей стали бросать дешевые помады и ланкомовские… «Кристиан Диор»… «Шанель»… Никто это не снял, не запечатлел в подробностях. Жаль. Очень. Стройность события, его красивость… они появляются потом, вот эти знамена и музыка… и все отливается в бронзу… А в жизни все раздроблено, грязно и лилово: люди сидели всю ночь у костра прямо на земле. На газетах и листовках. Голодные, злые. Матерились и выпивали, но пьяных не было. Кто-то привозил колбасу, сыр, хлеб. Кофе. Говорили, что это кооператоры… бизнесмены… Один раз я даже видела несколько банок красной икры. Икра исчезла у кого-то в кармане. Сигареты раздавали тоже бесплатно. Рядом со мной сидел парень в зэковских наколках. Тигр! Рокеры, панки, студенты с гитарами. И профессора. Все были вместе. Народ! Это был мой народ! Я встретила там своих друзей из института, которых не видела лет так пятнадцать, если не больше. Кто-то жил в Вологде… кто-то в Ярославле… Но они сели в поезд и приехали в Москву! Защищать что-то важное для всех нас. Утром мы забрали их к себе домой. Помылись, позавтракали и вернулись назад. На выходе из метро каждому уже давали кусок арматуры или камень. «Булыжник — оружие пролетариата», — смеялись мы. Строили баррикады. Переворачивали троллейбусы, пилили деревья.

Уже стояла трибуна. Над трибуной повесили плакаты: «Хунте — нет!», «Народ — не грязь под ногами». Выступавшие говорили в мегафон. Начинали они свои выступления нормальными словами — и простые люди, и известные политики. Через пару минут нормальных слов уже никому не хватало, и тогда начинали крыть матом. «Да мы этих мудаков…» И мат! Хороший русский мат! «Кончилось их время…» И — великий, могучий русский язык! Мат как боевой клич. И это было понятно всем. Соответствовало моменту. Минуты такого подъема! Такой силы! Старых слов не хватало, а новые еще не родились… Все время ждали штурма. Тишина, особенно ночью, стояла невероятная. Все жутко напряжены. Тысячи людей — и тишина. Помню запах бензина, разливаемого в бутылки. Это был запах войны…

Там стояли хорошие! Там стояли отличные люди! Сейчас много про водку пишут и наркотики. Мол, какая это революция? Пьяные и наркоманы пошли на баррикады. Вранье! Все честно пришли умирать. Мы знали, что эта машина перемалывала людей в песок семьдесят лет… никто не думал, что она так легко сломается… Без большой крови… Слухи: мост заминировали, скоро пустят газ. Кто-то из студентов медицинского института объясняет, как вести себя при газовой атаке. Обстановка менялась каждые полчаса. Страшная новость: трое ребят погибли под танком… Но никто не дрогнул, не ушел с площади. Так важно это для твоей жизни, как бы потом все ни сложилось. Сколько бы ни было разочарований. Но это мы пережили… Мы такие — были! (Плачет.) Под утро над площадью: «Ур-ра! Ура!». Снова мат… слезы… крики… По цепочке передали: армия перешла на сторону народа, спецназовцы из отряда «Альфа» отказались участвовать в штурме. Танки уходят из столицы… А когда объявили, что путчистов арестовали, люди бросились обнимать друг друга — это было такое счастье! Наша взяла! Мы отстояли свою свободу. Вместе мы это смогли! Значит, можем! Грязные, промокшие под дождем, долго еще не хотели расходиться по домам. Записывали адреса друг друга. Клялись помнить. Дружить. Милиционеры в метро были очень вежливыми, никогда ни до того, ни после того, я не видела таких вежливых милиционеров.

Мы победили… Горбачев вернулся из Фороса в совершенно другую страну. Люди ходили по городу и улыбались друг другу. Мы победили! Долго меня не покидало это чувство… Я ходила и вспоминала… перед глазами сцены… Как кто-то крикнул: «Танки! Танки идут!» Все взялись за руки и встали в оцепление. Часа два или три ночи. Мужчина рядом со мной достал пачку печенья: «Хотите печенья?» — и все берут у него это печенье. Почему-то хохочем. Хочется печенья… хочется жить! Но я… до сих пор… Я счастлива, что там была. С мужем, с друзьями. Тогда все были еще очень искренние. Жаль нас тех… что мы уже не такие… Особенно раньше было жаль.

Прощаясь, спрашиваю у них: как им удалось сохранить свою, как я узнала, еще университетскую дружбу?

— У нас уговор — не затрагивать эти темы. Не делать друг другу больно. А когда-то мы спорили, рвали отношения. Годами не разговаривали друг с другом. Но это прошло.

— Теперь говорим только о детях и внуках. Что у кого на даче растет.

— Соберутся наши друзья… Тоже ни слова о политике. Каждый своим путем пришел к этому. Живем вместе: господа и товарищи. «Белые» и «красные». Но никто уже не хочет стрелять. Хватит крови.

О другой библии и других верующих

Василий Петрович Н. — член коммунистической партии с 1922 года, 87 лет

— Ну да… хотел… Врачи вернули оттуда… Разве они знают, откуда возвращают? Я, конечно, атеист, но в старости уже ненадежный атеист. Ты один на один с этим… с мыслью, что надо уходить… куда-то… Ну да… другой взгляд… да-а-а… На землю… на песок… Не могу спокойно смотреть на обычный песок. Я давно старый. Сидим с кошкой у окна. (Кошка на коленях. Гладит.) Телевизор включим…

И конечно… Никогда я не думал, что доживу до времен, когда начнут ставить памятники белым генералам. Раньше герои — кто? Красные командиры… Фрунзе, Щорс… А сейчас — Деникин, Колчак… Хотя живы еще те, кто помнит, как колчаковцы нас вешали на фонарях. «Белые» победили… Так получается? А я воевал, воевал, воевал. За что? Строил, строил… Что? Был бы я писателем, сам взялся бы за мемуар. Слушал недавно по радио передачу о своем заводе. Я был первым директором. Обо мне рассказывали, как будто меня уже нет — я умер. А я… я живой… Они представить себе не могли, что я еще здесь… Да! Ну да… (Смеемся втроем. С нами сидит внук. Слушает.) Я чувствую себя забытым экспонатом в музейном запаснике. Пыльным черепком. Великая была империя — от моря до моря, от Заполярья до субтропиков. Где она? Побеждена без бомбы… без Хиросимы… Победила Ее Величество колбаса! Хорошая жратва победила! «Мерседес-бенц». Больше ничего человеку не надо, не предлагайте ему ничего больше. Без надобности. Только хлеба и зрелищ! И это самое большое открытие двадцатого века. Ответ всем великим гуманистам. И кремлевским мечтателям. А мы… мое поколение… у нас были великие планы. Мечтали о мировой революции: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Построим новый мир, сделаем всех счастливыми. Нам казалось, что это возможно, я искренне верил! Совершенно искренне! (Задыхается от кашля.) Астма замучила. Подождите… (Пауза.) Вот, я дожил… дожил до будущего, о котором мечтали. Умирали ради него, убивали. Крови было много… и своей, и чужой… «Иди и гибни безупречно! Умрешь недаром — дело прочно, когда под ним струится кровь...». «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть…» (Удивленно.) Помню… не забыл! Не все вытравил из памяти склероз. Не окончательно. Стихи мы учили на уроках политграмоты… Сколько же это лет прошло? Сказать страшно…

Чем я потрясен? Убит чем? Идея растоптана! Коммунизм предали анафеме! Все разлетелось вдребезги! Я — выживший из ума старик. Кровавый маньяк… серийный убийца… Так, выходит? Я слишком долго живу, так долго жить не надо. Нельзя… нет… нельзя… Опасно жить долго. Мое время кончилось раньше моей жизни. Надо умирать вместе со своим временем. Как мои товарищи… Они погибали рано, в двадцать-тридцать лет… Счастливые умирали… С верой! С революций в сердце, как тогда говорили. Я им завидую. Вы не поймете… я им завидую… «Погиб наш юный барабанщик…» Славно погиб! За великое дело! (Задумался.) Я все время жил рядом со смертью, но мало думал о смерти. А этим летом свозили меня на дачу. Я смотрел и смотрел на землю… она живая…

— Смерть и убийство — разве это одно и то же? Вы жили среди убийств.

— (Раздраженно.) За такие вопросы… Быть бы вам лагерной пылью. Север или расстрел — выбор маленький. В мое время таких вопросов не задавали. Не было у нас таких вопросов! Мы… Мы представляли себе справедливую жизнь, без бедных и богатых. Умирали за революцию, умирали идеалистами… бессребрениками… Моих друзей давно нет, я остался один. Нет моих собеседников… По ночам я беседую с мертвыми… А вы? Вы наших чувств и наших слов не знаете: продразверстка, продотряд, лишенец, комбед… пораженец, повторник… Санскритские письмена для вас! Иероглифы! Старость — это, прежде всего, одиночество. Последний знакомый старик в соседнем подъезде умер пять лет назад, а может, и больше… уже семь… Вокруг одни незнакомые люди. Приходят: из музея, из архива… из энциклопедии… Я — справочник… живой архив… А собеседников нет… С кем бы я хотел поговорить? Мог бы с Лазарем Кагановичем… Нас мало уже осталось, а тех, кто не в маразме, еще меньше. Он старше, ему уже девяносто. Читал в газетах… (Смеется. ) В газетах пишут, что старики во дворе отказываются играть с ним в домино. В карты. Гонят: «Душегуб!». И он плачет от обиды. Когда-то железный нарком. Расстрельные списки подписывал, десятки тысяч людей загубил. Тридцать лет был рядом со Сталиным. А на старости лет ему не с кем перекинуться в карты… забить «козла»… Обыкновенные работяги презирают… (Дальше говорит тихо. Не могу разобрать. Улавливаю только несколько слов.) Страшно… жить долго страшно.

…Я не историк и даже не гуманитарий. Правда, одно время работал директором театра, нашего городского театра. На какой участок бросала партия, там и служил. Предан был партии. Жизнь мало помню, помню только работу. Страна была стройплощадкой… домной… Кузницей! Так сейчас не работают. Я спал по три часа в сутки. Три часа… Мы отставали от передовых стран на пятьдесят-сто лет. На целый век. Сталинский план — догнать за пятнадцать-двадцать лет. Знаменитый сталинский скачок. И мы верили — догоним! Сейчас люди ни во что не верят, а тогда верили. Легко верили. Наши лозунги: «Ударим революционными мечтами по индустриальной разрухе!», «Большевики должны овладеть техникой!», «Догоним капитализм!». Я дома не жил… жил на заводе… на стройке. Ну да… В два… в три часа ночи мог зазвонить телефон. Сталин не спал, ложился поздно, и, соответственно, мы не спали. Руководящие кадры. Сверху донизу. Имею два ордена и три инфаркта. Был директором шинного завода, начальником стройтреста, оттуда перекинули на мясокомбинат. Заведовал партархивом. После третьего инфаркта дали театр… Наше время… мое… Великое время! Никто для себя не жил. Поэтому обидно… Брала у меня недавно интервью одна милая барышня. Начала меня «просвещать», в какое страшное время мы жили. Она в книжках читала, а я там жил. Я сам оттуда родом. Из тех лет. И она мне рассказывает: «Вы были рабы. Сталинские рабы». Соплюха! Не был я рабом! Не был! Я сейчас сам не вылезаю из сомнений… Но рабом я не был… У людей каша в голове. Все перемешалось: Колчак и Чапаев, Деникин и Фрунзе… Ленин и царь… Бело-красный салат. Окрошка. Чечетку на гробах отплясывают! Это было великое время! Больше никогда мы не будем жить в такой сильной и большой стране. Я плакал, когда Советский Союз развалился… Нас сразу прокляли. Оклеветали. Победил обыватель. Вошь. Червяк.

Моя Родина — Октябрь. Ленин… социализм… Я любил революцию! Партия — самое дорогое для меня. Я семьдесят лет в партии. Партбилет — моя библия. (Декламирует.) «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы

новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем…» Хотели построить Царство Божие на земле. Красивая, но несбыточная мечта, человек еще к этому не готов. Не совершенен он. Ну да… Но от Пугачева и декабристов… до самого Ленина… все мечтали о равенстве и братстве. Без идеи справедливости будет другая Россия и другие люди. Совсем другая будет страна. Мы еще не переболели коммунизмом. Не надейтесь. И мир не переболел. Человек всегда будет мечтать о Городе Солнца. Он еще в шкуре ходил, в пещере жил, а уже хотел справедливости. Вспомните советские песни и советские фильмы… Какая там мечта! Вера… «Мерседес» — это не мечта…

Внук весь разговор будет молчать. Расскажет в ответ на мои вопросы только несколько анекдотов.

Из анекдотов, рассказанных внуком

Тридцать седьмой год… Два старых большевика в камере. Один говорит: «Нет, не доживем мы до коммунизма, но наши дети». Второй: «Бедные наши дети!».

Старый я… давно… Но старость — это тоже интересно. Понимаешь, что человек — животное… животного вдруг обнаруживается много… Это время, как говорила Раневская, когда свечи на именинном пироге обходятся дороже самого пирога, а половина мочи идет на анализы. (Смеется.) Ничего не спасает от старости — ни ордена, ни медали… Не-е-т… Гудит холодильник, стучат часы. Больше ничего не происходит. (Заговорили о внуке. Внук на кухне готовит чай.) Дети пошли… у них только компьютер в голове… В девятом классе этот мой внук, он младший, сказал мне: «Про Ивана Грозного читать буду, а про Сталина не хочу. Надоел твой Сталин!» Ничего не знают, а уже надоел. Проехали! Все проклинают семнадцатый год. «Дураки! — говорят про нас. — Зачем они революцию делали?» А у меня в памяти… Я помню людей с горящими глазами. Сердца наши горели! Никто мне не верит! Но я-то не сошел с ума… Помню… да-а-а… Эти люди ничего не хотели для себя, не было, как теперь, на первом месте — я. Горшок щей… домик… садик… Было — мы. Мы! Мы! Ко мне иногда заходит друг моего сына, профессор университета. За границу ездит, лекции там читает. Ругаемся с ним до хрипоты. Я ему о Тухачевском, а он в ответ: красный командарм тамбовских крестьян газом травил, матросов в Кронштадте вешал. Сначала, говорит, вы постреляли дворян и попов… это в семнадцатом году… а в тридцать седьмом вас самих постреляли… Уже и до Ленина добрались. Ленина я никому не отдам! С Лениным в сердце умру! Сейчас… Подождите… (Сильный кашель. Из-за кашля дальше снова не очень разборчиво.) Раньше строили флот, покоряли космос, а сейчас — особняки, яхты… Честно признаться, часто ни о чем не думаю. Работает или не работает кишечник? — вот что с утра важно. Так жизнь кончается.

…Нам было по восемнадцать-двадцать лет… О чем мы говорили? Говорили о революции и о любви. Мы были фанатики революции. Но много спорили и о популярной в то время книге Александры Коллонтай «Любовь пчел трудовых». Автор защищала свободную любовь, то есть любовь без всего лишнего… «как выпить стакан воды»… Без вздохов и без цветов, без ревности и слез. Любовь с поцелуями и любовными записочками считалась буржуазным предрассудком. Все это настоящий революционер должен был в себе победить. Мы даже проводили собрания на эту тему. Наши взгляды делились: одни — за свободную любовь, но с «черемухой», значит, с чувствами, а другие — без всякой «черемухи». Я был за то, чтобы с «черемухой», хотя бы целоваться. Да! Ну да… (Смеется.) Как раз в это время я влюбился, ухаживал за своей будущей женой. Как ухаживал? Читали вместе Горького: «Буря! Скоро грянет буря! …Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах…» Наивно? Но и прекрасно тоже. Прекрасно, черт возьми! (Смеется по-молодому. И я замечаю, какой он до сих пор красивый.) Танцы… обыкновенные танцы… мы считали мещанством. Устраивали суды над танцами и наказывали тех комсомольцев, которые танцевали, дарили своим девушкам цветы. Я одно время даже был председателем суда над танцами. Из-за этого своего «марксистского» убеждения так и не научился танцевать. Потом каялся. Никогда не мог потанцевать с красивой женщиной. Медведь! Устраивали комсомольские свадьбы. Без свечек, без венцов. Без попов. Вместо икон — портреты Ленина и Маркса. У моей невесты были длинные волосы, так к свадьбе она их обрезала. Красоту мы презирали. Ну конечно, это было неправильно. Как говорится, перегиб… (Снова — кашель. Машет рукой, чтобы я не выключала диктофон.) Ничего-ничего… мне некуда откладывать… Скоро распадусь на фосфор, кальций и прочее. От кого вы еще узнаете правду? Остались одни архивы. Бумажки. Ну да… Я работал в архиве и знаю: бумажки врут еще хуже, чем люди.

О чем я? О любви… о моей первой жене… Когда у нас родился сын, мы назвали его Октябрем. В честь десятой годовщины Великого Октября. Я хотел еще дочку. «Если хочешь от меня второго ребенка, значит, любишь, — смеялась жена. — А как мы назовем нашу девочку?» Мне нравилось имя Люблена, оно складывалось из слов «люблю Ленина». Жена выписала на листочке все свои любимые женские имена: Марксана, Сталина, Энгельсина… Искра… Самые модные тогда. Так этот листочек и остался лежать на столе…

Первого большевика я увидел в своей деревне… Молодой студент в солдатской шинели. Он выступал на площади возле церкви: «Сейчас одни ходят в сапогах, а другие — в лаптях. А когда будет большевистская власть, все станут одинаковыми». Мужики кричали: «А как это?» — «А это настанет такое прекрасное время, когда ваши жены будут носить шелковые платья и туфельки на каблуках. Не будет богатых и бедных. Всем будет хорошо». Моя мама наденет шелковое платье, сестренка туфельки на каблуках. Я буду учиться… Все люди станут жить как братья, все будут равны. Как не полюбить такую мечту! Большевикам поверили бедные люди, неимущие. Молодежь за большевиками пошла. Мы ходили по улицам и кричали: «Долой колокола — на трактора!» Про Бога знали только одно — что Бога нет. Смеялись над попами, рубили дома иконы. Вместо крестных ходов — демонстрации с красными флагами… (Остановился.) Вроде я это уже рассказывал? Склероз… Я старый… давно… Ну да… Марксизм стал нашей религией. Я был счастлив, что живу в одно время с Лениным. Соберемся вместе и поем «Интернационал». В пятнадцать-шестнадцать лет — уже комсомолец. Коммунист. Солдат революции. (Молчит.) Смерти я не боюсь… в моем возрасте… Только неприятно… Мне неприятно по одной причине: кому-то придется с моим телом возиться. Возня с телом… Зашел я один раз в церковь. С батюшкой познакомился. Батюшка: «Надо исповедоваться». Старый я… А есть Бог или нет — скоро и так узнаю. (Смеется.)

Полуголодные, полураздетые… Но субботники у нас круглый год, и зимой тоже. Мороз! У моей жены легкое пальтишко, она беременная. Грузим на станции уголь, дрова, таскаем тачками. Незнакомая девушка, которая работала рядом с нами, спрашивает у жены: «У тебя такое пальтишко летнее. А потеплее нет?» — «Нет». — «Знаешь, а у меня два. Было хорошее пальто, и от Красного креста получила новое. Ты скажи мне свой адрес, я вечером принесу». Вечером она принесла нам пальто, но не старое свое пальто, а новое. Она нас не знала, достаточно было: мы — члены партии, и она — член партии. Мы были как братья и сестры. В нашем доме жила слепая девушка, с детства слепая, и она плакала, если ее не брали на субботники. Пусть она мало поможет, но она попоет с нами песни. Революционные песни!

Мои товарищи… они лежат под каменными плитами… На камнях высечено: член партии большевиков с двадцатого… двадцать четвертого… двадцать седьмого года… И после смерти было важно: какой ты веры? Хоронили партийных отдельно, гроб в красном кумаче. Я помню день смерти Ленина… Как? Ленин умер? Не может быть! Он же святой… (Просит внука и тот снимает с полки и показывает мне маленькие ленинские бюсты. Из бронзы, чугуна, фарфора.) Коллекция собралась. Все подарки. А вчера… По радио передали: у памятника Ленину в центре города отпилили ночью руку. На металлолом… за копейки… Была икона. Бог! Теперь — цветной металл. Продают и покупают на килограммы… А я еще живой… Коммунизм проклят! Социализм уже дрянь! Мне говорят: «Ну кто сегодня всерьез принимает марксизм? Его место в учебниках истории». А кто из вас может сказать, что читал позднего Ленина? Знает всего Маркса? Есть ранний Маркс… и Маркс в конце жизни… То, что сегодня ругают как социализм, никакого отношения к социалистической идее не имеет. Идея не виновата. (Из-за кашля опять неразборчиво. ) Люди потеряли свою историю… остались без веры… О чем ни спросишь — пустота в глазах. Начальники обучились креститься, а свечку, как стакан с водкой, в правой руке держат. Вернули пронафталиненного двуглавого орла… хоругви с иконами… (Вдруг совершенно отчетливо.) Мое последнее желание — напишите правду. Но мою правду… а не свою. Чтобы остался мой голос…

Показывает свои фотографии. Иногда что-то комментирует.

…Привели к командиру. «Сколько тебе лет?» — спросил командир. «Семнадцать», — я соврал. Мне было неполных шестнадцать. Так я стал красноармейцем. Нам выдали обмотки и красные звездочки для шапок. Буденовок не было, а красные звездочки выдали. Что за Красная армия без красных звездочек? Дали винтовки. И мы себя чувствовали защитниками революции. Вокруг — голод, эпидемии. Возвратный тиф… брюшной тиф… сыпняк… А мы — счастливые…

…Из разбитого помещичьего дома кто-то вытащил пианино… Стоит в саду, мокнет под дождем. Пастушки подгонят коров поближе и играют на нем палками. Усадьбу по пьянке сожгли. Разграбили. А кому из мужиков нужно пианино?

…Взорвали церковь… До сих пор в ушах крик старух: «Деточки, не делайте этого!». Умоляли. Цеплялись за ноги. Двести лет церковь простояла. Намоленное место, как говорится. Построили вместо церкви городскую уборную. Священников заставили там убирать. Говно чистить. Сейчас… конечно… сейчас я понимаю… А тогда… весело…

…В поле лежали наши товарищи… На лбу и на груди у них были вырезаны звезды. Красные звезды. Распороты животы, туда насыпана земля: хотели земли — нате! Наши чувства — смерть или победа! Пусть мы умрем, но мы знаем, за что умрем.

…У реки увидели проколотых штыками белых офицеров. Почернели на солнце «их благородия». Из животов торчали погоны… животы набиты погонами… Не жалко! Мертвых людей видел столько, сколько и живых…

— Сегодня жалко всех: и «белых», и «красных». Мне жалко.

— Вам жалко… Жалко? (Мне показалось, что на этом наш разговор может и закончиться.) Ну да… конечно… «Общечеловеческие ценности»… «абстрактный гуманизм»… Телевизор смотрю, газеты читаю. А у нас милосердие было поповским словом. Бей белого гада! Даешь революционный порядок! Лозунг первых лет революции: загоним железной рукой человечество в счастье! Раз партия сказала — я верю партии! Я верю.

Город Орск под Оренбургом. День и ночь гонят товарняки с кулацкими семьями. В Сибирь. Мы охраняем станцию. Открываю один вагон: в углу висит на ремне полуголый мужчина. Мать качает на руках маленького, а мальчик постарше сидит рядом. Руками ест свое говно, как кашу. «Закрывай! — кричит мне комиссар. — Это — кулацкая сволочь! Они для новой жизни не годятся!» Будущее… оно же должно быть красивым… Потом будет красиво… Ну верил я! (Почти кричит.) Мы верили в какую-то красивую жизнь. Утопия… это была утопия… А вы? У вас своя утопия — рынок. Рыночный рай. Рынок всех сделает счастливыми! Химера! Ходят по улицам гангстеры в малиновых пиджаках, золотые цепи до пуза. Капитализм карикатурный, как на картинках в советском журнале «Крокодил». Пародия! Вместо диктатуры пролетариата — закон джунглей: кусай того, кто слабее тебя, а тому, кто сильнее, кланяйся. Самый древний закон на земле… (Приступ кашля. Передышка.) Мой сын носил буденовку с красной звездочкой… В детстве это был лучший подарок ему на день рождения. Я давно не хожу в магазины. Продают ли там буденовки? Их долго носили. При Хрущеве еще носили. Какая сейчас мода? (Пробует улыбнуться.) Я отстал… конечно… Я уже древний… Мой единственный сын… он умер… Доживаю с невесткой и внуками. Сын был историк и убежденный коммунист. А внуки? (С насмешкой.) Внуки читают Далай-ламу. Вместо «Капитала» у них «Махабхарата». Каббала… Теперь все верят в разное. Ну да… теперь так… Человек всегда хочет во что-то верить. В Бога или в технический прогресс. В химию, в полимеры, в космический разум. Теперь — в рынок. Ну, допустим, наедимся, а дальше что? Я захожу в комнату к своим внукам — там все чужое: рубашки, джинсы, книги, музыка, зубная щетка — и та не наша. На полках стоят пустые банки из-под «Пепси», «Кока-колы»… Папуасы! В супермаркеты ходят как в музей. Отпраздновать день рождения в «Макдональдсе» — круто! «Дед, мы ходили в «Пицца-хат»! Мекка! Спрашивают у меня: «Ты на самом деле верил в коммунизм, а почему не в гуманоидов?» Я мечтал: мир — хижинам, война — дворцам, а они хотят стать миллионерами. Приходят их друзья. Слышу разговоры: «Я лучше буду жить в слабой стране, но с йогуртом и хорошим пивом», «Коммунизм — отстой!», «Путь России — монархия. Боже, Царя храни!». Крутят песни: «Все будет прекрасно, поручик Голицын, за все комиссары получат сполна…». А я живой… я еще здесь… В самом деле… Я же не сошел с ума… (Смотрит на внука. Тот молчит.) В магазинах полно колбасы, а людей счастливых нет. Я не вижу людей с горящими глазами.

Из анекдотов, рассказанных внуком

Спиритический сеанс. Разговаривают профессор и старый большевик. Профессор: «В идею коммунизма изначально вкралась ошибка. Помните песню: "Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка…"?» Старый большевик: «Конечно, помню. А ошибка какая?» Профессор: «Паровозы не летают».

Сначала арестовали жену… Ушла в театр и домой не вернулась. Возвращаюсь с работы: сын вместе с котом спит на коврике в прихожей. Ждал-ждал маму и уснул. Жена работала на обувной фабрике. Красный инженер. «Что-то непонятное творится, — говорила она. — Забрали всех моих друзей. Это какая-то измена…» — «Вот мы с тобой не виноваты, и нас не берут». Был в этом убежден… Абсолютно убежден… искренне! Сначала я был ленинец, потом сталинец. До тридцать седьмого года я был сталинец. Верил всему, что говорил и делал Сталин. Да… величайший… гениальный… вождь всех времен и народов. Даже когда врагами народа объявили Бухарина, Тухачевского, Блюхера, я ему верил. Спасительная мысль… глупая… Я думал так: Сталина обманывают, наверх пробрались предатели. Партия разберется. И вот арестовали мою жену, честного и преданного бойца партии.

Через три дня пришли за мной… Первым делом понюхали в печке: не пахнет ли дымом, не сжег ли я что-нибудь. Их было трое. Один ходил и выбирал себе вещи: «Это вам уже не надо». Настенные часы снял. Меня поразило… я не ожидал… И в то же время что-то в этом было человеческое, внушало надежду. Вот эти человеческие гадости… Да-а-а… Значит, у этих людей есть чувства… Обыск продолжался с двух часов ночи до утра. В доме было очень много книг, каждую книгу пролистали. Прощупали одежду. Распороли подушки… Времени подумать у меня было достаточно. Вспоминал… лихорадочно… Посадки уже шли массовые. Каждый день кого-то брали. Обстановка страшноватая. Человека взяли, все вокруг молчат. Спрашивать бесполезно. Следователь на первом допросе мне объяснил: «Вы виноваты уже в том, что не донесли на свою жену». Но это уже в тюрьме… А тогда все в памяти перебрал. Все… Одно только вспомнил… Вспомнил последнюю городскую партконференцию… Зачитали приветствие товарищу Сталину, и весь зал встал. Шквал оваций: «Слава товарищу Сталину — организатору и вдохновителю наших побед!», «Сталину — слава!», «Слава вождю!» Пятнадцать минут… полчаса… Все оборачиваются друг на друга, но никто первый не садится. Все стоят. Я почему-то сел. Машинально. Подходят ко мне двое в штатском: «Товарищ, почему сидите?». Я вскочил! Вскочил как ошпаренный. Во время перерыва все время оглядывался. Ждал, что сейчас подойдут и арестуют… (Пауза.)

К утру обыск кончился. Команда: «Собирайтесь». Няня разбудила сына… Перед уходом я успел шепнуть ему: «Никому не рассказывай про папу и маму». Так он выжил. (Придвигает диктофон поближе к себе.) Записывайте, пока жив… «П. ж.»… «пока жив»… пишу на поздравительных открытках. Некому уже, правда, посылать… Меня часто спрашивают: «Почему вы все молчали?» — «Время такое было». Я считал, что виноваты предатели — Ягода, Ежов, — но не партия. Через пятьдесят лет легко судить. Хихикать… над старыми дураками… В то время я шагал вместе со всеми, а теперь их никого нет…

…Месяц просидел в одиночке. Такой каменный гроб — к голове шире, к ногам поуже. Ворона к своему окну приручил, кормил перловкой из похлебки. С тех пор ворон — моя любимая птица. На войне… Бой окончен. Тишина. Раненых подобрали, одни мертвые лежат. Другой птицы нет, а ворон летает.

…На допрос вызвали через две недели. Знал ли я, что у жены есть сестра за границей? «Моя жена — честный коммунист». На столе у следователя лежал донос, подписанный — я не поверил! — нашим соседом. Я узнал почерк. Подпись. Мой товарищ был, можно сказать, с гражданской войны. Военный… в высоком звании… Немного был даже влюблен в мою жену, я ревновал. Ну да… ревновал… Жену я крепко любил… свою первую жену… Следователь подробно пересказывал мне наши разговоры. Я понял, что не ошибся… да, это сосед… все разговоры были при нем… История моей жены такая: она из-под Минска, белоруска. После Брестского мира часть белорусских земель отошла к Польше. Там остались ее родители. Сестра. Родители скоро умерли, а сестра писала нам: «Я лучше поеду в Сибирь, чем оставаться в Польше». Хотела жить в Советском Союзе. Тогда коммунизм был популярен в Европе. Во всем мире. Многие в него верили. Не только простые люди, но и западная элита. Писатели: Арагон, Барбюс… Октябрьская революция была «опиумом для интеллектуалов». Где-то читал… теперь много читаю. (Передышка.) Моя жена — «враг»… Значит, нужна «контрреволюционная деятельность»… Хотели сфабриковать «организацию»… «террористическое подполье»… «С кем ваша жена встречалась? Кому передавала чертежи?» Какие чертежи! Я все отрицал. Били. Топтали сапогами. Все — свои. У меня партбилет, и у них — партбилет. И у моей жены — партбилет.

…Общая камера… В камере — пятьдесят человек. По нужде выводили два раза в день. А в остальное время? Как даме объяснить? У входа стояла огромная бадья… (Зло.) Попробуйте сесть и посрать при всех! Кормили селедкой и не давали воды. Пятьдесят человек… Английские… японские шпионы… Деревенский старик, безграмотный… Его посадили за пожар на конюшне. Сидел студент за анекдот… На стене висит портрет Сталина. Докладчик читает реферат о Сталине. Хор поет песню о Сталине. Артист декламирует стихотворение о Сталине. Что это такое? Вечер, посвященный столетию со дня смерти Пушкина. (Я смеюсь, а он не смеется.) Студент получил десять лет лагерей без права переписки. Был шофер, арестованный за то, что похож на Сталина. И вправду был похож. Заведующий прачечной, беспартийный парикмахер, шлифовальщик… Больше всего простых людей. Но был и ученый-фольклорист. Ночью он рассказывал нам сказки… детские сказки… И все слушали. На фольклориста донесла его собственная мать. Старая большевичка. Один раз только она передала ему папиросы перед этапом. Да-а-а… Сидел старый эсер, он открыто радовался:. «Как я счастлив, что и вы, коммунисты, тут сидите и ничего, как и я, не понимаете». Контрик! Я думал, что советской власти уже нет. И Сталина — нет.

Из анекдотов, рассказанных внуком

Железнодорожный вокзал… Сотни людей. Человек в кожаной куртке отчаянно ищет кого-то. Нашел! Подходит к другому человеку в кожаной куртке: «Товарищ, ты партийный или беспартийный?» — «Партийный». — «Тогда скажи, где тут сортир?»

Все отобрали: ремень, шарф, шнурки из ботинок выдернули, а убить себя все равно можно. Была такая мысль. Ну да… была… Задушить себя брюками или резинкой от трусов. Били по животу мешком с песком. Все из меня вылезало, как из червяка. Подвешивали на крюки. Средневековье! Из тебя течет, ты свой организм уже не контролируешь. Отовсюду течет… Выдержать эту боль… Стыд! Умереть проще… (Передышка.) Встретил в тюрьме своего старого товарища… Николай Верховцев, член партии с тысяча девятьсот двадцать четвертого года. Он преподавал на рабфаке. Все знакомые… в близком кругу… Кто-то читал вслух газету «Правда», и там информация: на бюро Цека слушался вопрос об оплодотворении кобылиц. Ну он возьми и пошути, что у Цека, мол, дел других нет, как только оплодотворением кобылиц заниматься. Днем он это сказал, а ночью его уже взяли. Пальцы рук ему зажимали дверью, сломали пальцы, как карандаши. Держали сутками в противогазе. (Молчит.) Непонятно, как сегодня об этом рассказывать… В общем-то, варварство. Унизительно. Ты — кусок мяса… лежишь в моче… Верховцеву попался следователь-садист. Они не все были садисты… Сверху им спускали лимит, план на врагов — месячный и годовой. Вот они меняются, пьют чай, звонят домой, флиртуют с медичками, которых вызывают, когда человек от пыток теряет сознание. У них дежурство… смена… А у тебя вся жизнь перевернулась. Такие вещи… Следователь, который вел мое дело, был раньше директором школы, он меня убеждал: «Наивный вы человек. Мы вас шлепнем и составим акт — при попытке к бегству. Вы знаете, что Горький сказал: если враг не сдается, то его уничтожают». — «Я — не враг». — «Поймите: нам не страшен только человек раскаявшийся, человек разрушившийся». Мы с ним дискутировали на эту тему… Второй следователь был кадровый офицер. Чувствовалось, что ему лень все эти бумажки заполнять. Они все время что-то писали. Один раз он дал мне папиросу. Люди сидели подолгу. Месяцами. Между палачами и жертвами завязывались человеческие… ну, человеческими их не назовешь, но какие-то все-таки отношения. Но одно не исключало другого… «Подпишите». Читаю протокол. — «Я этого не говорил». Бьют. Старательно бьют. Их всех потом самих расстреляли. Отправили в лагеря.

Это было утром… Открывается камера. Команда: «На выход!». Я — в одной рубашке. Хочу одеться. «Нет!» Ведут в какой-то подвал… Там уже ждет следователь с бумагой: «Подпишете — да или нет?». Отказываюсь. «Тогда — к стенке!» Бах! Выстрел поверх головы… «Ну как — подпишете?» Бах! И так три раза. Ведут назад, по каким-то лабиринтам… оказывается, в тюрьме столько подвалов! Я не подозревал. Водили так, чтобы заключенный ничего не увидел. И никого не узнал. Если кто-то идет навстречу, конвоир дает команду: «Мордой к стенке!». Но я уже был опытный. Подсматривал. Так я встретился со своим начальником на курсах красных командиров. И со своим бывшим профессором в совпартшколе… (Молчит.) С Верховцевым мы были откровенны: «Преступники! Советскую власть губят. Они ответят за это». Несколько раз его допрашивала женщина-следователь: «Когда меня пытают, она становится красивой. Ты понимаешь, она тогда красивая». Впечатлительный человек. Это от него я узнал, что Сталин в юности писал стихи… (Закрыл глаза.) Я сейчас, бывает, просыпаюсь в холодном поту: и меня могли направить на работу в энкавэдэ. И я бы пошел. У меня партбилет в кармане. Красная книжечка.

Звонок в дверь. Приехала медсестра. Измерила давление. Сделала укол. Все это время разговор пусть отрывочно, но продолжается.

…Я как-то подумал: социализм не решает проблему смерти. Старости. Метафизического смысла жизни. Проходит мимо. Только в религии есть ответы на это. Да-а-а… В тридцать седьмом меня бы за такие разговоры…

…Книгу «Человек — амфибия» Александра Беляева читали? Там гениальный ученый хочет сделать своего сына счастливым и превращает его в человека-амфибию. Но сыну скоро становится тоскливо одному в океане. Он хочет быть как все: жить на земле, полюбить обыкновенную девушку. Это уже невозможно. И он гибнет. А отцу померещилось, что он проник в тайну… Что он — бог! Вот он — ответ всем великим утопистам!

…Идея была прекрасная! Но что вы с человеком сделаете? Человек не изменился со времен старого Рима…

Медсестра ушла. Закрыл глаза.

Подождите… все-таки я закончу… На час сил еще у меня хватит. Продолжим… В тюрьме я просидел без малого год. Уже готовился к суду. К этапу. Удивлялся: чего они со мной тянут? Как я понимаю, никакой логики у них не было. Тысячи дел… Хаос… Через год меня вызвал новый следователь… Мое дело отдают на пересмотр. И меня отпускают, сняли все обвинения. Значит, ошибка. Партия мне верит! Сталин был великий режиссер… Как раз в это время он убрал «кровавого карлика», наркома Ежова. Его судили. Расстреляли. Началась реабилитация. Народ вздохнул: до Сталина дошла правда… А это была всего лишь передышка перед новой кровью… Игра! Но все поверили. И я поверил. Прощаюсь с Верховцевым… Он показывает свои сломанные пальцы: «А я здесь уже девятнадцать месяцев и семь дней. Никто меня отсюда не выпустит. Побоятся». Николай Верховцев… член партии с тысяча девятьсот двадцать четвертого года… расстрелян в сорок первом году, когда немцы подходили к городу. Энкаведисты расстреляли всех заключенных, которых не успели эвакуировать. Выпустили уголовную шпану, а все «политические» подлежали ликвидации как предатели. Немцы вошли в город и открыли ворота тюрьмы — там лежала гора трупов. Жителей города, пока трупы не стали разлагаться, гоняли к тюрьме — смотреть на советскую власть.

Сына я нашел у чужих людей, няня увезла его в деревню. Он заикался, боялся темноты. Стали жить с ним вдвоем. Я добивался каких-нибудь сведений о жене. И одновременно — восстановления в партии. Чтобы мне вернули мой партбилет. Новый год… В доме нарядная елка. Ждем с сыном гостей. Звонок в дверь. Открываю. Стоит на пороге плохо одетая женщина: «Я пришла передать вам привет от вашей жены». — «Жива!» — «Год назад была жива. Одно время я работала с ней в свинарнике. Воровали у свиней мороженую картошку, благодаря этому не сдохли. Жива ли она сейчас, не знаю». Быстро ушла. Я ее не задерживал… должны были прийти гости… (Молчит.) Бой курантов. Открыли шампанское. Первый тост «За Сталина!». Да-а-а…

Сорок первый год…

Все плакали… А я орал от счастья — война! Я пойду на войну! Уж это-то мне позволят. Отправят. Стал проситься на фронт. Меня долго не брали. Военком был знакомый: «Не могу. У меня на руках инструкция — "врагов" не брать». — «Это кто враг? Я — враг!» — «Твоя жена отбывает наказание в лагере по 58-й статье — контрреволюционная деятельность». Пал Киев… бои под Сталинградом… Я завидовал любому человеку в военной форме — он защищает Родину! Девушки уходили на фронт… А я? Пишу письмо в райком партии: расстреляйте или пустите на фронт! Через два дня мне вручили повестку — в двадцать четыре часа явиться на сборный пункт. Война была спасением… единственный шанс вернуть себе честное имя. Я радовался.

…Революцию хорошо помню. А потом, извините, уже хуже. Даже войну уже меньше помню, хотя по времени она ближе. Помню, что ничего не поменялось. Только оружие к концу войны у нас было другое — не шашки и винтовки, а «катюши». А жизнь солдатская? Как и раньше, мы могли годами есть суп из перловки и пшенную кашу, месяцами носить грязное белье. Не мыться. Спать на голой земле. А будь мы другие, как бы мы победили?

…Поднялись в бой… Нас из пулеметов! Все легли на землю. Тут еще миномет подключился, разносит людей в клочья. Рядом со мной упал комиссар: «Что лежишь, контра! Вперед! Пристрелю!»

…Под Курском встретил своего следователя. Бывшего директора школы… У меня была мысль: «Ну, теперь, сволочь, ты у меня в руках. В бою пристрелю тихо». Было… Ну да… Хотел. Не успел. Мы с ним даже один раз разговаривали. «Родина у нас одна» — его слова. Смелый был человек. Геройский. Погиб под Кенигсбергом. Что сказать… Могу сказать… я подумал, что Бог сделал мое дело… Врать не буду…

Вернулся домой дважды раненый. С тремя орденами и медалями. Меня вызвали в райком партии: «К сожалению, жену мы вам вернуть не можем. Жена погибла. Но честь мы вам возвращаем…» Мне отдали мой партбилет. И я был счастлив! Я был счастлив…

Говорю ему, что мне этого не понять — никогда. Взрывается.

По законам логики нас судить нельзя. Бухгалтеры! Поймите же! Нас можно судить только по законам религии. Веры! Вы еще нам позавидуете! Что у вас великого? Ничего нет. Один комфорт. Все для желудка… для двенадцатиперстной кишки… Набить брюхо и обставиться цацками… А я… мое поколение… Все, что у вас есть, это мы построили. Заводы, плотины… электростанции… А где ваше? И Гитлера мы победили. После войны… Родился у кого-то ребенок — радость! Радость не такая, как до войны. Другая. Я мог и заплакать… (Закрыл глаза. Устал.) А-а-а… Верили… А теперь нам вынесли приговор: вы верили в утопию… Верили! Любимый мой роман «Что делать?» Чернышевского… Сейчас его уже не читают. Скучно. Читают только название — вечный русский вопрос: что делать? Для нас это был катехизис. Учебник революции. Целые страницы заучивали наизусть. Четвертый сон Веры Павловны… (Читает, как стихи.) «Дома из хрусталя и алюминия… Хрустальные дворцы! Лимонные и апельсиновые сады посреди городов. Стариков почти нет, люди очень поздно стареют, потому что жизнь прекрасна. Все делают машины, люди только ездят и управляют машинами… Машины жнут, вяжут… Нивы густые и изобильные. Цветы — как деревья. Все счастливые. Радостные. Ходят в красивых одеждах — мужчины и женщины. Ведут вольную жизнь труда и наслаждения. Всем много места, довольно работы. Неужели это мы? Неужели это наша Земля? И все так будут жить? Будущее светло и прекрасно…» Вон… (Кивает в сторону внука.) Посмеивается… Дурачок я для него. Так и живем.

— У Достоевского есть ответ Чернышевскому: «Стройте, стройте свой хрустальный дворец, а я вот возьму и швырну в него камень… И не потому, что голоден и живу в подвале, а просто так — от своеволия…»

— (Разозлился. ) Вы думаете, что нам коммунизм, эту заразу, как пишут в сегодняшних газетах, в пломбированном вагоне из Германии привезли? Что за ерунда! Народ восстал. Не было того «золотого века» при царе, о котором сейчас вдруг вспомнили. Сказки! И о том, что Америку хлебом кормили, и что судьбы Европы решали. Умирал русский солдат за всех — это правда. А жили… У нас в семье на пятерых детей были одни боты. Ели картошку с хлебом, а зимой — без хлеба. Одну картошку… А вы спрашиваете: откуда взялись коммунисты?

Я столько помню… А зачем? Зачем, а? Что теперь мне с этим делать? Мы любили будущее. Будущих людей. Спорили, когда это будущее наступит. Через сто лет — точно. Но нам это казалось слишком далеко… (Передышка. )

Я выключаю диктофон.

Без диктофона… Хорошо… Мне надо кому-то вот это рассказать…

Мне было пятнадцать лет. Приехали к нам в деревню красноармейцы. На конях. Пьяные. Продотряд. Спали они до вечера, а вечером собрали всех комсомольцев. Выступил командир: «Красная армия голодает. Ленин голодает. А кулаки прячут хлеб. Жгут». Я знал, что мамкин родной брат… дядька Семен… завез в лес мешки с зерном и закопал. Я — комсомолец. Клятву давал. Ночью я пришел в отряд и повел их к тому месту. Нагрузили они целый воз. Командир руку мне пожал: «Расти, брат, скорей». Утром я проснулся от мамкиного крика: «Семенова хата горит!». Дядьку Семена нашли в лесу… порубили его красноармейцы шашками на куски… Мне было пятнадцать лет. Красная армия голодает… Ленин… Боялся выйти на улицу. Сидел в хате и плакал. Мамка обо всем догадалась. Ночью дала мне в руки торбочку: «Уходи, сынок! Пусть Бог тебя простит, несчастного». (Закрыл рукой глаза. Но я все равно вижу — плачет.)

Хочу умереть коммунистом. Последнее мое желание…

В 90-е годы я опубликовала только часть этой исповеди. Мой герой дал рассказ кому-то почитать, с кем-то посоветовался, и его убедили, что полная публикация «бросит тень на партию». А этого он боялся больше всего. После его смерти нашли завещание: свою большую трехкомнатную квартиру в центре города он завещал не внукам, а «для нужд любимой коммунистической партии, которой я обязан всем». Об этом даже написали в вечерней городской газете. Такой поступок был уже непонятен. Все посмеивались над сумасшедшим стариком. Памятник на его могиле так никто и не поставил.

Теперь решила напечатать рассказ полностью. Все это уже принадлежит больше времени, чем одному человеку.

История одного детства

Мария Войтешонок, писательница, 57 лет

— Я — осадница. Я родилась в семье ссыльного польского офицера-осадника (osadnik — по-польски «поселенец», получивший земли на Восточных Кресах после окончания советско-польской войны в 1921 году). А в 1939 году (секретный протокол пакта Молотова-Риббентропа) Западную Беларусь присоединили к СССР, и тысячи осадников-колонистов вместе со своими семьями были сосланы в Сибирь как «опасный политический элемент» (из записки Берии — Сталину). Но это большая история, а у меня своя… маленькая…

Не знаю дня своего рождения… и даже года… Все у меня приблизительное. Не нашла никаких документов. Я есть, и меня нет. Не помню ничего и помню все. Я думаю, что мама уезжала беременная мной. Почему? Меня всегда волнуют паровозные гудки… и запах шпал… и плач людей на станциях… Могу ехать хорошим, фирменным поездом, но прогрохочет рядом товарняк, и у меня слезы. Не в силах видеть вагоны для скота, слышать рев животных… Нас увозили в этих вагонах. Меня еще не было. И я была. У меня в снах нет лиц… сюжетов… все мои видения из звуков… запахов…

Алтайский край. Город Змеиногорск, река Змеевка… Ссыльных сгрузили за городом. У озера. Жить стали в земле. В землянках. Я родилась под землей, выросла там. Земля мне с детства пахнет домом. Течет с потолка, отрывается ком земли, упал и скачет ко мне. Это — лягушка. Но я маленькая, я еще не знаю, кого надо бояться. Сплю с двумя козочками, на теплой подстилке из козьего «горошка»… Первое слово «ме-е-е»… первые звуки… а не «ма»… «мама». Старшая сестра Владя вспоминала, как я удивлялась, что козочки не говорят, как мы. Мое недоумение. Они казались мне равными. Мир был целостный, неразделенный. Я и сейчас я не чувствую этой разницы между нами, между людьми и животными. Всегда разговариваю с ними… и они меня понимают… А жучки, паучки… они тоже были рядом… такие цветные, такие раскрашенные жучки. Мои игрушки. Весной мы вместе выбирались на солнце, ползали по земле, искали еду. Грелись. А зимой обмирали, как деревья, впадали в спячку от голода. У меня своя школа, меня учили не только люди. Я слышу и деревья, и траву. Больше всего в жизни мне интересны животные, действительно интересны. Как мне отделиться от того мира… от тех запахов… Не могу. Вот наконец солнце! Лето! Я — наверху… вокруг красота ослепительная, и никто никому не готовит никакой еды. И еще все звучит, все в красках. Я пробую на вкус каждую травинку, листок… цветок… все корешки… белены раз наелась, чуть не умерла. Целые картины в памяти… Помню гору «Синяя борода» и синий свет на этой горе… освещение… Свет шел именно с левой стороны, со склона. Шел он сверху вниз… Какие это были зрелища! Боюсь, что у меня не хватит таланта это передать. Воскресить. Слова — это только дополнение к состоянию. К нашим чувствам. Красные маки, лилии-саранки, марьин корень… Все это расстилалось перед глазами. Под ногами. Или другая картина… Я сижу возле какого-то дома. По стене ползет солнечное пятно… и оно разных цветов… все время меняется. Долго-долго сижу на том месте. Если бы не эти краски, я бы, наверное, умерла. Не выжила. Не помню, что мы ели… была ли у нас какая-нибудь человеческая еда…

Вечером я видела, как шли черные люди. Черные одежды, черные лица. Это ссыльные возвращались с рудников… они все были похожи на моего отца. Я не знаю, любил ли меня отец. Любил ли меня кто-нибудь?

У меня очень мало воспоминаний… Мне их не хватает. Ищу в темноте, стараюсь больше оттуда вытащить. Редко… очень редко вдруг что-то вспомнится, чего я не помнила. Мне горько, но я счастлива. Я тогда страшно счастлива.

Ничего не могу вспомнить про зиму… Зимой я сидела в землянке весь день. День был похож на вечер. Все в сумерках. Ни одного цветного пятна… Были ли у нас какие-то вещи, кроме мисок и ложек? Никаких одежд… чтобы что-то из одежды… обкручивались какими-то тряпками. Ни одного цветного пятна. Обувь… Что из обуви? Галоши… помню галоши… у меня тоже галоши, большие и старые, как у мамы. Наверное, мамины… Первое пальто мне выдали в детдоме, и первые рукавицы. Шапочку. Помню: в темноте едва-едва белеет лицо Влади… Целыми днями она лежит и кашляет, она заболела на рудниках, у нее туберкулез. Я уже знаю это слово… Мама не плачет… Не помню, чтобы мама плакала, она мало говорила, а потом, видимо, вообще перестала говорить. Когда кашель отступает, Владя зовет меня: «Повторяй за мной… Это — Пушкин». Я повторяю: «Мороз и солнце, день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный!». И представляю себе зиму. Как у Пушкина.

Я раба слова… я слову верю абсолютно… Всегда жду слов от человека, и от незнакомого человека тоже, от незнакомого даже больше жду. На незнакомого человека еще можно надеяться. Как будто и самой хочется сказать… и я решаюсь… Готова. Когда я начинаю кому-то рассказывать, потом на том месте, о котором я говорила, я ничего уже не нахожу. Там пустота, я теряю эти воспоминания. Там мгновенно — дыра. И нужно долго ждать, чтобы они вернулись. Поэтому я молчу. Я все обрабатываю в себе. Ходы, лабиринты, норки…

Лоскутки… Откуда у меня взялись эти лоскутки и обрезки? Разноцветные, много малинового цвета. Кто-то мне их принес. Из этих лоскутков я шила маленьких человечков, стригла себе волосы, делала им прически. Это были мои подружки… Кукол я не видела, ничего не знала о куклах. Жили мы уже в городе, но не в доме, а в подвале. Одно слепое окошко. Но у нас уже появился адрес: улица Сталина, дом семнадцать. Как и у других… как и у всех… у нас уже был адрес. Там я играла с одной девочкой… девочка была не из подвала, а из дома. Ходила в платьях и в ботиночках. А я — в маминых галошах… Я принесла ей показать эти лоскутки, на улице они смотрелись еще красивее, чем в подвале. Девочка стала их у меня просить, на что-то хотела выменять эти лоскутки. Я — ни за что! Пришел ее папа: «Не дружи с этой нищенкой», — сказал он. Я поняла, что меня взяли и отодвинули. Мне надо тихо уйти, скорее уйти с этого места. Конечно, это уже взрослые слова, не детские. Но чувство… то чувство я помню… Тебе так больно, что уже нет обиды и нет жалости к себе, у тебя вдруг много-много свободы. А жалости к себе нет… Когда жалость есть, то человек еще не так глубоко заглянул, он еще не ушел от людей. А если он ушел, люди ему совсем не нужны, ему хватает того, что в нем самом. Я слишком глубоко заглянула… Меня трудно обидеть. Я редко плачу. Мне смешны все обычные беды, женские обиды… Для меня это шоу… шоу жизни… Но если я услышу, что плачет ребенок… никогда не пройду мимо нищего… Никогда не пройду мимо. Запах этот я помню, запах беды… Какие-то волны идут, я до сих пор к ним подключена. Это запах моего детства. Моих пеленок.

Я иду с Владей… мы несем пуховую шаль… Красивую вещь для какого-то другого мира. Готовый заказ. Владя умела вязать, на эти деньги мы жили. Женщина рассчиталась с нами, а потом говорит: «Давайте я вам нарежу цветов». Как — нам букет? Стоим две попрошайки, в какой-то мешковине… голодные, холодные… И нам — цветы! Мы всегда думали только о хлебе, а этот человек догадался, что мы способны думать еще о чем-то. Ты был заперт, замурован, а тебе открыли форточку… окно распахнули… Оказывается, кроме хлеба… кроме еды… нам можно дать и букет цветов! Значит, мы ничем от других не отличаемся. Мы… такие же… Это было нарушением правил: «Давайте я вам нарежу цветов». Не нарву, не соберу, а нарежу в своем саду. С этого момента… Возможно, это был мой ключ… мне дали ключ… Меня это перевернуло… Я помню тот букет… большой букет космей… Всегда их теперь сажаю у себя на даче. (Мы сидим как раз у нее на даче. Растут тут одни цветы и деревья.) Я недавно ездила в Сибирь… Город Змеиногорск… вернулась туда… Искала нашу улицу… наш дом… наш подвал… Но дома уже нет, дом снесли. У всех спрашивала: «А вы помните?». Один старик вспомнил, что да, в подвале жила красивая девушка, она болела. Люди больше запоминают красоту, чем страдание. И букет нам подарили, потому что Владя была красивая.

Я пошла на кладбище… У самых ворот стояла сторожка с заколоченными окнами. Долго стучала. Вышел сторож, он был слепой… Что за знак? «Не скажите, где хоронили ссыльных?» — «А… та-а-ам…» — и махнул рукой то ли вниз, то ли вверх. Какие-то люди повели меня в самый дальний угол… Одна трава там… одна трава… Ночью не спала, потому что задыхалась. Спазм… такое чувство, что кто-то меня душит… Убежала из гостиницы на станцию. Пешком через весь пустой город. Станция была закрыта. Села на рельсы и до утра ждала. На откосе сидели парень с девушкой. Целовались. Рассвело. Пришел поезд. Пустой вагон… Входим: я и четверо мужчин в кожаных куртках, бритые, похожи на уголовников. Стали угощать меня огурцами и хлебом. «Бум в карты играть?» Мне не было страшно.

Недавно вспомнила… Ехала и вспомнила… в троллейбусе ехала… Как Владя пела: «Я могилу милой искал, но найти ее нелегко…». А оказывается, это любимая песня Сталина… когда ее пели, он плакал… И я ее сразу разлюбила, эту песню. К Владе приходили подружки, звали на танцы. Я все это помню… Мне было уже шесть или семь лет… Я видела, как в трусы вместо резинки они зашивали проволоку. Чтобы нельзя было сорвать… Там же одни ссыльные… зэки… Убивали часто. Про любовь я тоже уже знала. К Владе приходил красивый парень, когда она болела — лежала в каких-то тряпках, кашляла. А он так на нее смотрел…

Мне больно, но это — мое. Я никуда от него не бегу… Не могу сказать, что я все приняла, благодарна за боль, тут нужно какое-то другое слово. Сейчас я его не найду. Знаю, что в этом состоянии я далеко от всех. Я одна. Взять страдание в свои руки, обладать им полностью и выйти из него, что-то оттуда вынести. Это такая победа, только в этом есть смысл. Ты не с пустыми руками… А иначе зачем было спускаться в ад?

Вот кто-то подводит меня к окну: «Посмотри, вон везут твоего отца…» Незнакомая женщина тянула что-то на санках. Кого-то или что-то… закутанное в одеяло и перевязанное веревкой… Потом мы с сестрой хоронили нашу маму. Остались одни. Владя уже плохо ходила, у нее отказывали ноги. Кожа отслаивалась, как бумага. Ей принесли бутылочку… Я думала, что это лекарство, а это была какая-то кислота. Яд. «Не бойся…» — позвала она меня и дает эту бутылочку. Она хотела, чтобы мы вместе отравились. Я беру эту бутылочку… Бегу и бросаю ее в печь. Стекло разбивается… Печь была холодная, там давно ничего не варилось. Владя заплакала: «Ты вся в отца». Кто-то нас нашел… Может, ее подружки? Владя лежала уже в беспамятстве…

Ее — в больницу, меня — в детдом. Отец… Я хочу его вспомнить, но как ни стараюсь, не вижу его лица, нет в моей памяти его лица. Потом я увидела его, молодого, на фотографии у тети. Правда… я на него похожа… Это наша с ним связь. Отец женился на красивой крестьянской девушке. Из бедной семьи. Хотел сделать из нее барыню, а мама всегда носила платок, надвинув его низко-низко на брови. Не барыня. В Сибири отец недолго жил с нами… он ушел к другой женщине… А я уже родилась… Я была наказанием! Проклятием! Ни у кого не было сил любить меня. И у мамы тоже не было этих сил. Это запрограммировалось в моих клетках: ее отчаяние, ее обида… и нелюбовь… Мне всегда не хватает любви, даже когда меня любят, я не верю, мне постоянно требуются доказательства. Знаки. Они нужны мне каждый день. Каждую минуту. Меня трудно любить… я знаю… (Долго молчит.) Я люблю свои воспоминания… Люблю свои воспоминания за то, что там все живы. У меня там все есть: мама… папа… Владя… Мне обязательно надо сидеть за длинным столом. С белой скатертью. Я живу одна, но у меня на кухне стоит большой стол. Может, они все со мной… Я могу идти и вдруг повторю чей-то жест. Не мой… Владин жест… или мамин… Мне кажется, мы прикасаемся руками…

Я — в детдоме… В детдоме сирот-осадников воспитывали до четырнадцати лет, а потом отправляли на рудники. И в восемнадцать лет — туберкулез… как у Влади… Это судьба. Где-то далеко, говорила Владя, у нас есть дом. Но очень далеко. Там осталась тетя Марыля, мамина сестра… Безграмотная крестьянка. Она ходила, просила. Чужие люди писали письма. Не понимаю и сейчас… ну как? Как она добилась? В детдом пришло распоряжение: отправить меня вместе с сестрою по такому-то адресу. В Беларусь. В первый раз до Минска мы не доехали, в Москве нас ссадили с поезда. Все повторилось: Владю — у нее начался жар — в больницу, меня — в изолятор. Из изолятора — в приемник-распределитель. Подвальное помещение, пахло хлоркой. Чужие люди… Я все время живу среди чужих людей… Всю жизнь. А тетя писала… писала… Через полгода нашла меня в приемнике. Снова я слышу слова «дом», «тетя»… Меня ведут к поезду… Темный вагон, только освещен проход. Тени людей. Со мной — воспитательница. Доехали до Минска и взяли билет в Поставы… я все эти названия знаю… Владя просила: «Ты запоминай. Запомни: наше поместье Совчино». Из Постав идем пешком в Гридьки… в тетину деревню… Сели возле моста передохнуть. А в это время сосед ехал с ночной смены на велосипеде. Спросил, кто мы. Ответили, что приехали к тете Марыле. «Да, — сказал он, — правильно идете». И, видно, передал тете, что видел нас… она побежала навстречу… Я увидела ее и говорю: «А вот эта тетя похожа на мою маму». И все.

Стриженная «под нулевку» сижу на длинной лавке в хате дяди Стаха, маминого брата. Дверь открыта, и через проем видно, что люди идут и идут… останавливаются и молча смотрят на меня… Живопись полная! Никто друг с другом не разговаривает. Стоят и плачут. Абсолютная тишина. Вся деревня пришла… И они перекрыли мой поток слез, каждый плакал со мной. Все они знали отца, кто-то у него работал. Не раз я потом услышу: «В колхозе нам "палочки" начисляют, а Антэк (отец) всегда рассчитывался». Вот оно — мое наследство. Наш дом перевезли с хутора на центральную усадьбу колхоза, в нем до сих пор сельсовет. Я все знаю про людей, знаю больше, чем хотелось бы. В тот же день, когда красноармейцы погрузили нашу семью на телегу и повезли на станцию, эти же люди… тетя Ажбета… Юзэфа… дядя Матей… разнесли из нашего дома все по своим хатам. Мелкие постройки разобрали. Раскатали по бревнышку. И молодой сад выкопали. Яблоньки. Тетя прибежала… и унесла только вазон с окна на память… Не хочу я это помнить. Гоню из памяти. Я помню, как деревня меня нянчила, носила на руках. «Идем, Манечка, к нам, мы грибов наварили…», «Давай молочка тебе налью…». Сегодня я приехала, а назавтра у меня все лицо покрылось волдырями. Жгло глаза. Не могла поднять веки. Меня за руки водили умываться. Во мне выбаливало все, выжигалось, чтобы я посмотрела на мир другими глазами. Это был переход из той жизни к этой… Теперь я шла по улице, и меня каждый останавливал: «Какая девочка! Ай, какая девочка!». Без этих слов у меня глаза были бы как у собаки, которую вытащили из проруби. Я не знаю, как я смотрела бы на людей…

Жили тетя с дядей в кладовке. Хата в войну сгорела. Поставили кладовку, думали, на первое время, и там остались. Соломенная крыша, маленькое окошко. В одном углу бульбочка (тетины слова) — не «бульба», а «бульбочка», а в другом — поросенок визжит. Никаких досок на полу — земля накрыта аиром и соломой. Скоро сюда же привезли Владю. Пожила она немного и умерла. Радовалась, что умирает дома. Последние ее слова: «А что будет с Манечкой?».

Все, что я узнала о любви, я знаю из тетиной кладовки…

«Моя ты птушачка… — звала меня тетя. — Моя жужалка… пчелка…» Я все время лопотала, теребила ее. Я не могла поверить… Меня любили! Любили! Ты растешь, а тобой любуются — это такая роскошь. У тебя все косточки распрямляются, все мышцы. Я танцевала ей «русского» и «яблочко». Меня научили этим танцам в ссылке… Пела песни… «Есть по Чуйскому тракту дорога. Много ездит по ней шоферов…», «Умру, в чужой земле зароют, заплачет мамочка моя, жена найдет себе другого, а мать сыночка — никогда…» Набегаешься за день так, что ноги все синие-синие, ободранные — обуви же не было никакой. Ляжешь вечером спать, а тетя твои ножки закрутит в подол своей ночной сорочки, согреет. Она меня пеленала. Лежишь где-то возле живота… как в утробе… Поэтому я не помню зла… Я зло забыла… где-то далеко оно у меня спрятано… Утром просыпалась от тетиного голоса: «Я драники испекла. Поешь». — «Тетя, я спать хочу». — «А ты поешь и спи». Она понимала, что еда… блины… для меня как лекарство. Блины и любовь. А дядя наш Виталик был пастух, носил на плече кнут и длинную берестяную трубу. Ходил в военном кителе и галифе. Приносил нам с пастбища «торбу» — там и сыр, и кусочек сала — все то, чем его угощали хозяйки. Святая бедность! Она для них ничего не значила, не обижала, не оскорбляла. Как для меня важно все это… драгоценно… Одна подруга жалуется: «Нет денег на новую машину…», другая: «Всю жизнь мечтала, а так и не купила себе норковую шубу…». Как через стекло слышу… Единственное, о чем я жалею, что не могу уже носить короткую юбку… (Вместе смеемся.)

У тети был необычный голос… дрожащий, как у Эдит Пиаф… Ее звали петь на свадьбах. И если кто-то умирал. Я всегда с ней… рядом бегу… Помню… Вот она стоит-стоит возле гроба… долго стоит… В какой-то момент отлучается как-то от всех, подходит ближе. Медленно подходит… она видит, что никто не может сказать этому человеку последних слов. Люди хотят, но не все умеют. И вот она начинает: «И куда ты, Анечка, от нас пошла… светлый день и ночку оставила… кто теперь будет ходить по твоему двору… кто деток твоих поцелует… кто вечером коровку встретит…» Тихо-тихо подбирает слова… Все бытовое, простое, и оно же высокое. Печальное. Какая-то самая последняя правда в этом простом. Окончательная. Голос дрожит… И все за ней начинают плакать. Уже забыто, что корова не подоена, муж пьяный дома остался. Меняются лица, уходит суета, на лицах проступает свет. Все плачут. Я стесняюсь… и жалею тетю… Вернется она домой больная: «Ой, Манечка, головка шумит». Но такое было у тети сердце… Из школы прибегу… Маленькое окошко, иголка с палец… Тетя зашивает наши тряпочки и поет: «Огонь зальешь водою Любовь ничем нельзя…» Я озарена этими воспоминаниями…

От нашего поместья… От нашего дома остались одни камни. Но я слышу их тепло, меня тянет к ним. Приезжаю туда, как на могилу. Я могу там заночевать в поле. Хожу осторожно, боюсь ступить. Человека нет, а жизнь есть. Гул жизни… разных живых существ… Хожу и боюсь разрушить чей-то дом. Я и сама могу обустроиться где угодно, как мурашка. У меня культ дома. Чтобы росли цветы… было красиво… Я помню, как в детдоме меня ведут в мою комнату, где я буду жить. Белые кровати… Ищу глазами: не занята ли кровать у окна? Будет ли у меня своя тумбочка? Я ищу, где будет мой дом.

Сейчас… Сколько это мы сидим и говорим? За это время отгремела гроза… соседка приходила… телефон звонил… Все это влияло на меня, на все это я откликалась. А на бумаге останутся только слова… Другого ничего не будет: соседки не будет, телефонных звонков… того, что я не сказала, но оно мелькало в памяти, присутствовало. Завтра вообще я обо всем, может быть, расскажу иначе. Слова остались, а я встану и пойду дальше. Я научилась с этим жить. Умею. Иду и иду.

Кто это мне дал? Все это… Бог дал или люди? Если Бог дал, то он знал, кому давать. Страдание меня вырастило… Это мое творчество… Моя молитва. Сколько раз я хотела кому-нибудь все рассказать. Проговаривалась. Но никто меня ни разу не попросил: «А дальше что… дальше?» А я все время ждала хороших или плохих людей, не знаю, но все время ждала людей. Всю жизнь жду, что меня кто-то найдет. И я все ему расскажу… и он спросит: «Ну а дальше что?». Сейчас стали говорить: социализм виноват… Сталин… Как будто у Сталина была власть, как у Бога. У каждого был свой Бог. Почему он молчал? Моя тетя… наша деревня… Я помню еще Марию Петровну Аристову, заслуженную учительницу, которая навещала нашу Владю в больнице в

 Москве. Чужая женщина… она и привезла ее к нам в деревню, внесла на руках… Владя уже совсем не ходила… Мария Петровна присылала мне карандаши, конфеты. Писала письма. А в детприемнике-распределителе, где меня мыли, дезинфицировали… Я на высокой лаве… вся в пене… могу соскользнуть, разбиться о цемент. Скольжу… сползаю… Чужая женщина… нянечка… подхватывает меня и прижимает к себе: «Мой ты птенчик».

Я видела Бога.

**Часть вторая
Обаяние пустоты**

**Из уличного шума  и  разговоров на кухне (2002—2012)**

**О прошлом**

— Ельцинские девяностые… Как мы их вспоминаем? Это: счастливое время… сумасшедшее десятилетие… страшные годы… время мечтательной демократии… гибельные девяностые… время просто золотое… время саморазоблачения… злые и подлые времена… яркое время… агрессивное… бурное… мое это было время…
не мое!!!

— Профукали мы девяностые! Такой шанс, какой у нас был тогда, не скоро повторится. И ведь как все хорошо начиналось в девяносто первом! Никогда не забуду лица людей, с которыми я стоял у Белого дома. Мы победили, мы были сильными. Нам хотелось жить. Мы наслаждались свободой. Но сейчас… сейчас я иначе об этом думаю… Какие мы были до отвращения наивные! Храбрые, честные и наивные. Мы думали, что колбаса вырастает из свободы. Во всем, что случилось потом, и мы виноваты… Ельцин, конечно, несет ответственность, но мы тоже…

Я думаю, что все началось с октября. С октября девяносто третьего… «Кровавый октябрь», «черный октябрь», «ГКЧП-2»… Так его называют… Пол-России рвалось вперед, а пол-России тянуло назад. В серый социализм. В проклятый совок. Совет-ская власть не сдавалась. «Красный» парламент отказался подчиняться президенту. Я так это тогда понимал… Наша дворничиха, приехавшая откуда-то из-под Твери, которой мы с женой не раз помогали деньгами, отдали всю мебель, когда делали в квартире ремонт — в то утро, когда все началось, увидела у меня значок с Ельциным и вместо «Доброе утро!» злорадно сказала: «Скоро вам, буржуям, конец будет», — и отвернулась. Я не ожидал. Откуда у нее ко мне такая ненависть? За что? Обстановка — как в девяносто первом… По телевизору увидел: горит Белый дом, стреляют танки… Трассирующие пули в небе… Штурм телевизионного центра «Останкино»… Генерал Макашов в черном берете кричал: «Больше не будет ни мэров, ни сэров, ни херов». И ненависть… ненависть… Запахло гражданской войной. Кровью. Из Белого дома генерал Руцкой откровенно призывал к войне: «Летчики! Братья! Поднимайте самолеты! Бомбите Кремль! Там банда!» Как-то мгновенно город наполнился военной техникой. Непонятными людьми в камуфляжной форме. И тогда Егор Гайдар обратился к «москвичам, всем россиянам, которым дороги демократия и свобода»… Все как в девяносто первом… Мы пришли… я пришел… Там были тысячи людей… Помню, что я куда-то бежал вместе со всеми. Споткнулся. Упал на плакат «За Россию — без буржуев!». Сразу представил себе, что нас ждет, если генерал Макашов победит… Увидел раненого молодого парня, он не мог идти, потащил его на себе. «Ты за кого, — спросил он, — за Ельцина или за Макашова?» Он был за Макашова… Значит, враги. «Да пошел ты!» — послал его матом. А что еще? Быстро мы разделились опять на «белых» и «красных». Возле «скорой» лежали десятки раненых… У всех у них, это почему-то мне четко запомнилось, были стоптанные ботинки, все это были простые люди. Бедные люди. У меня там кто-то еще раз спросил: «Кого ты притащил — он наш или не наш?» «Не наших» брали в последнюю очередь, они лежали на асфальте и истекали кровью… «Вы что? Сумасшедшие!» — «Так это же наши враги?» Что-то произошло за эти два дня с людьми… вообще, что-то в воздухе поменялось. Рядом со мной были совсем другие люди, мало похожие на тех, с кем я стоял у Белого дома два года назад. В руках заточки из арматуры… настоящие автоматы, их раздавали с грузовика… Война! Все серьезно. Возле телефонной будки складывали убитых… И тут стоптанные ботинки… А недалеко от Белого дома — работали кафе, там, как обычно, пили пиво. Зеваки висели на балконах и наблюдали за происходящим, как в театре. И тут же… На моих глазах из Белого дома двое мужчин выносили на руках телевизор, из карманов курток торчали телефонные трубки… Мародеров кто-то весело отстреливал сверху. Наверное, снайперы. Или в человека попадут, или в телевизор… На улицах все время слышались выстрелы…*(Замолкает.)* Когда все кончилось и я вернулся домой, узнал: убили сына нашей соседки. Парню двадцать лет. Он был по другую сторону баррикад… Одно дело, когда мы спорили с ними на кухне, а другое — стрелять… Как это получилось? Я этого не хотел… Потому что в толпе… Толпа — это чудовище, человек в толпе это совсем не тот человек, с которым ты сидел на кухне и разговаривал. Пил водку, пил чай. Я уже больше никуда не пойду и сыновей не пущу… *(Молчит.)* Я не знаю, что это было: мы защищали свободу или участвовали в военном перевороте? Сейчас у меня сомнения… Сотни людей погибли… Их никто не вспоминает, кроме родных. «Горе строящему на крови…» *(Молчит.)* А если бы победил генерал Макашов? Крови было бы еще больше. Россия обрушилась бы. Ответов у меня нет… Я верил Ельцину до девяносто третьего года…

Тогда мои сыновья были маленькие, но они уже давно выросли. Один даже женат. Я несколько раз… да… делал попытки… Хотел им рассказать о девяносто первом… о девяносто третьем… Им это уже неинтересно. Пустые глаза. У них только один вопрос: «Папа, почему ты не разбогател в девяностые, когда это было легко?». Мол, только безрукие и глупые не разбогатели. Дебильные предки… кухонные импотенты… Бегали по митингам. Нюхали воздух свободы, когда умные люди нефть и газ делили…

— Русский человек — он увлекающийся. Когда-то он был увлечен идеями коммунизма, яростно, с религиозным фанатизмом воплощал их в жизнь, потом устал, разочаровался. И решил отречься от старого мира, отряхнув его прах со своих ног. Так это по-русски — начинать с разбитого корыта. И снова нас дурманят новые, как нам кажется, идеи. Вперед — к победе капитализма! Скоро будем жить как на Западе! Розовые мечтания…

— Жить стало лучше.

— Но некоторым в тысячу раз стало лучше.

— Мне пятьдесят лет… Я стараюсь быть не совком. Это у меня плохо получается. Работаю у частного предпринимателя и ненавижу его. Не согласна с дележкой жирного пирога — СССР, с «прихватизацией». Не люблю богатых. Кичатся по телевизору своими дворцами, винными погребами… Пусть хоть в золотых ваннах, наполненных грудным молоком, купаются. Мне это зачем показывать? Я не умею рядом с ними жить. Обидно. Стыдно. И я уже не изменюсь. Я слишком долго жила при социализме. Сегодня жить стало лучше, но противнее.

— Удивляюсь, как много еще страдальцев по советской власти.

— А чего дискутировать с совками? Надо подождать, пока они перемрут, и сделать все по-своему. Первым делом выбросить мумию Ленина из мавзолея. Что за азиатчина! Мумия лежит, как проклятие над нами… Порча…

— Спокойно, товарищ. Вы знаете, сейчас намного лучше говорят об СССР, чем двадцать лет назад. Я недавно была на могиле Сталина, там горы цветов. Красных гвоздик.

— Убили черт знает сколько людей, но у нас была великая эпоха.

— Мне не нравится то, что сейчас, я не в восторге. Но и в «совок» не хочу. Не рвусь в прошлое. К сожалению, хорошего ничего не могу вспомнить.

— А я хочу назад. Мне не нужна советская колбаса, мне нужна страна, в которой человек был человеком. Раньше говорили «простые люди», а сейчас «простонародье». Чувствуете разницу?

— Я вырос в диссидентской семье… На диссидентской кухне… Мои родители были знакомы с Сахаровым, распространяли самиздат. Вместе с ними я прочитал Василия Гроссмана, Евгению Гинзбург, Довлатова… Слушал «Свободу». И в девяно-сто первом я, конечно, стоял в цепи вокруг Белого дома, готов был пожертвовать жизнью, чтобы не вернулся коммунизм. Среди моих друзей не было коммунистов. Коммунизм у нас был связан с террором, с ГУЛАГом. С клеткой. Мы думали, что он мертв. Навсегда мертв. Прошло двадцать лет… Захожу в комнату сына — и вижу: у него на столе лежит «Капитал» Маркса, на книжной полке — «Моя жизнь» Троцкого… Не верю своим глазам! Маркс возвращается? Это что — кошмар? Сон или явь? Сын учится в университете, у него много друзей, я стал прислушиваться к их разговорам. Пьют чай на кухне и спорят о «Манифесте коммунистической партии»… Марксизм снова в законе, в тренде, в бренде. Они носят футболки с портретами ЧеГевары и Ленина. *(В отчаянии.)* Ничего не проросло. Все было напрасно.

— Для разрядки вот вам анекдот… Революция. В одном углу церкви пьют, гуляют красноармейцы, а в другом — их кони жуют овес и мочатся. Дьячок бежит к настоятелю: «Батюшка, что они творят в святом храме?» — «Это не страшно. Постоят и уйдут. Страшно будет, когда их внуки вырастут». Вот они выросли…

— У нас один выход — вернуться к социализму, но только к православному социализму. Россия не может жить без Христа. У русского человека счастье никогда не было связано с большими деньгами. Этим и отличается «русская идея» от «американской мечты».

— России нужна не демократия, а монархия. Сильный и справедливый царь. И первым законным претендентом на престол является Глава Российского Императорского Дома Великая княгиня Мария Владимировна, а затем — ее потомки.

— Березовский принца Гарри предлагал…

— Монархия — бред! Дряхлая старина!

— Неверующее сердце слабо и неосновательно перед грехом. Русский народ обновится исканием правды Божией.

— Перестройка мне нравилась только тогда, когда она начиналась. Если бы кто-нибудь нам сказал тогда, что президентом страны станет подполковник КГБ…

— Мы были не готовы к свободе…

— Свобода, равенство, братство… Кровищи эти слова пролили — океан.

— Демократия! — смешное слово в России. Путин-демократ — самый короткий анекдот.

— За эти двадцать лет мы много чего про себя узнали. Открыли. Узнали о том, что Сталин — наш тайный герой. Вышли десятки книг и фильмов о Сталине. Люди читают, смотрят. Спорят. Полстраны мечтает о Сталине… Если полстраны мечтает о Сталине, то он обязательно появится, можете не сомневаться. Вытащили из ада всех зловещих мертвецов: Берию, Ежова… О Берии стали писать, что он был талантливый администратор, хотят реабилитировать, потому что под его руководством создали русскую атомную бомбу…

— Долой чекистов!

— Кто следующий — новый Горбачев или новый Сталин? Или свастика начнется? «Зиг Хайль!» Россия поднялась с колен. Опасный момент, потому что Россию нельзя было так долго унижать.

**О настоящем**

— Путинские нулевые… Какие они? Тучные… серые… брутальные… чекист-ские… гламурные… стабильные… державные… православные…

— Россия всегда была, есть и будет империей. Мы не просто большая страна, мы отдельная русская цивилизация. У нас свой путь.

— Запад и сейчас боится России…

— Вот наши природные богатства нужны всем, и особенно — Европе. Откройте энциклопедию: по запасам нефти седьмое, а газа — у нас первое место в Европе. Одно из первых мест по запасам железной руды, уранового сырья, олова, меди, никеля, кобальта… И алмаза, и золота, и серебра, и платины… Владеем всей таблицей Менделеева. Мне один француз так и заявил: а почему это все вам принадлежит, земля же общая?

— Все-таки я империалист, да. Я хочу жить в империи. Путин — мой президент! Либералом теперь стыдно называться, как недавно стыдно было называться коммунистом. Мужики возле пивного ларька могут и мордунабить.

— Ненавижу Ельцина! Мы ему верили, а он повел нас совсем в неизвестном направлении. Ни в какой демократический рай мы не попали. А попали туда, где еще страшнее, чем было.

— Дело не в Ельцине и не в Путине, а в том, что мы — рабы. Рабская душонка! Рабская кровь! Посмотришь на «нового русского»… Он из «бентли» вылезает, у него деньги из карманов сыплются, а он раб. Наверху сидитпахан: «Пошли все в стойло!» И все пойдут.

— Я слышал по телевизору… «У тебя есть миллиард? — спросил господин Полонский. — Нет?! Тогда пошел ты в жопу!» Я из тех, кого господин олигарх послал в жопу. Обычная семья: отец спился, мать в детском садике за копейки вкалывает. Мы для них говно, навоз. Я хожу на разные тусовки. К патриотам, националистам… Слушаю. Придет время, и кто-нибудь обязательно даст мне в руки винтовку. И я возьму.

— Капитализм у нас не приживается. Чужд нам дух капитализма. Дальше Москвы он не распространился. Климат не тот. И человек не тот. Русский человек не рациональный, не меркантильный, может рубашку последнюю отдать, но иногда украдет. Он стихийный и больше созерцатель, чем деятель, способен довольствоваться малым. Накопительство не его идеал, ему скучно копить. В нем очень обострено чувство справедливости. Народ — большевик. А еще русский человек не хочет просто жить, он хочет жить для чего-то. Он хочет участвовать в великом деле. У нас скорее найдешь святого, чем честного и успешного. Читайте русскую классику…

— Почему, когда наши люди уезжают за границу, они там нормально вписываются в капиталистическую жизнь? А дома все любят поговорить о «суверенной демократии», об отдельной русской цивилизации и о том, что «в русской жизни нет основы для капитализма».

— У нас капитализм неправильный…

— Оставьте надежды на другой капитализм…

— В России капитализм как бы есть, а капиталистов нет. Нет новых Демидовых, Морозовых… Русские олигархи — это не капиталисты, а просто воры. Ну какие могут быть капиталисты из бывших коммунистов и комсомольцев? Мне Ходорковского не жалко. Пусть сидит на нарах. Жалко только, что он один там сидит. Должен же кто-то ответить за то, что я пережил в девяностые. Обобрали до нитки. Сделали безработным. Капиталистические революционеры: Гайдар, железный Винни-Пух… рыжий Чубайс… Ставили эксперименты на живых людях, как естествоиспытатели…

— Ездил в деревню к матери. Соседи рассказали как кто-то поджег ночью усадьбу фермера. Люди спаслись, сгорели животные. Деревня пила на радостях два дня. А вы говорите: капитализм… У нас при капитализме живут социалистические люди…

— При социализме мне обещали, что места под солнцем хватит всем. Теперь говорят другое: жить надо по законам Дарвина, тогда у нас будет изобилие. Изобилие для сильных. А я — из слабых. Я — не борец… У меня была схема, я привыкла жить по схеме: школа, институт, семья. Копим с мужем на кооперативную квартиру, после квартиры — на машину… Схему сломали. Нас бросили в капитализм… По образованию я инженер, работала в проектном институте, его еще называли «женский институт», потому что там были одни женщины. Сидишь и складываешь целый день бумажки, я любила, чтобы аккуратно, стопочкой. Так бы и просидела всю жизнь. А тут начались сокращения… Не трогали мужчин, их было мало, и матерей-одиночек, и тех, кому до пенсии остался год или два. Вывесили списки, я увидела свою фамилию… Как жить дальше? Растерялась. Меня жить по Дарвину не учили.

Долгое время надеялась, что найду работу по специальности. Я была идеалистка в том смысле, что не знала своего места в жизни, свою цену. Мне до сих пор не хватает девочек из моего отдела, именно девчонок, нашего трепа. Работа у нас была на втором плане, а на первом — общение, этот задушевный треп. Раза три за день мы пили чай, ну и каждая рассказывала о своем. Отмечали все праздники, все дни рождения… А сейчас… Хожу на биржу труда. Безрезультатно. Требуются маляры, штукатуры… Моя подруга, мы вместе в институте учились, она убирает дом у одной бизнесвумен, собаку выводит… Прислуга. Первое время плакала от унижения, а сейчас привыкла. А я не могу.

— Голосуй за коммунистов — это круто.

— Все-таки нормальному человеку сталинистов не понять. Сто лет России коту под хвост, а они: слава советским людоедам!

— Русские коммунисты уже давно не коммунисты. Частная собственность, которую они признали, и коммунистическая идея несовместимы. Я могу сказать о них, как Маркс говорил о своих последователях: «Я знаю только одно, что я не марксист». А еще лучше выразился Гейне: «Я сеял драконов, а пожал блох».

— Коммунизм — будущее человечества. Альтернативы нет.

— На воротах Соловецкого лагеря висел большевистский лозунг: «Железной рукой загоним человечество к счастью». Один из рецептов спасения человечества.

— Никакого желания идти на улицу и делать что-то. Лучше ничего не делать. Ни добра, ни зла. То, что сегодня — добро, завтра окажется — злом.

— Самые страшные люди — это идеалисты…

— Я люблю Родину, но жить тут не буду. Я не смогу тут быть такой счастливой, как я хочу.

— Может, я дура… Но я не хочу уезжать, хотя могу.

— И я не уеду. В России веселее жить. Этого драйва нет в Европе.

— Лучше любить нашу Родину издали…

— Сегодня стыдно быть русским…

— Наши родители жили в стране победителей, а мы в стране, проигравшей «холодную войну». Гордиться нечем!

— Валить не собираюсь… У меня тут бизнес. Я могу точно сказать, что нормально жить в России можно, не надо только лезть в политику. Все эти митинги за свободу слова, против гомофобов — мне по барабану…

— Все говорят о революции… Вон Рублевка опустела… Богатые бегут, капиталы уводят за границу. Закрывают свои дворцы на ключ, полно объявлений: «Продаю…». Чувствуют, что народ решительно настроен. А никто ничего добровольно не отдаст. Тогда заговорят «калашниковы»…

— Одни орут «Россия — за Путина!», а другие — «Россия без Путина!».

— А что будет, когда нефть подешевеет или станет совсем не нужной?

— 7 мая 2012 года. По телевизору показывают: торжественный кортеж Путина едет в Кремль на инаугурацию по совершенно пустому городу. Ни людей, ни машин. Образцовая зачистка. Тысячи полицейских, военных и бойцов ОМОНа дежурят у выходов из метро и возле подъездов. Очищенная от москвичей и вечных московских пробок столица. Мертвый город.

Царь-то ненастоящий!

**О будущем**

*Сто двадцать лет назад Достоевский закончил «Братьев Карамазовых». Там он писал о вечных «русских мальчиках», которые всегда толкуют «о мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца».*

*Призрак революции опять гуляет по России. 10 декабря 2011 года — стотысячный митинг на Болотной площади. С тех пор протестные выступления не прекращаются. О чем же толкуют «русские мальчики» сегодня? Что выберут на этот раз?*

— Я хожу на митинги, потому что хватит держать нас за лохов. Верните выборы, гады! Первый раз на Болотной площади собралось сто тысяч, никто не ожидал, что придет столько людей. Терпели, терпели, и в какой-то момент ложь и беспредел зашкалили: все — хватит! Все смотрят выпуски новостей или читают новости в интернете. Говорят о политике. Быть в оппозиции стало модно. Но я боюсь… Я боюсь, что мы все трепачи… Постоим на площади, покричим и вернемся к своим компам и будем сидеть в интернете. Останется только одно: «Как мы славно потусили!». Уже я с этим столкнулся: надо было к очередному митингу нарисовать плакаты, разнести листовки — все быстро рассосались…

— Я раньше была далека от политики. Мне хватало работы и семьи, я считала, что по улицам ходить бесполезно. Меня больше привлекала теория малых дел: я работала в хосписе, летом, когда горели леса под Москвой, возила продукты и вещи погорельцам. Разный опыт был… А мама все время сидела у телевизора. И ее, видно, достало это вранье и ворье с чекистским прошлым, она все мне пересказывала. Мы пошли на первый митинг вместе, а маме моей семьдесят пять лет. Она — актриса. Купили на всякий случай цветы. Не будут же стрелять в людей с цветами!

*—*Я родился уже не в СССР. Если мне что-то не нравится, я выхожу на улицу и протестую. А не болтаю об этом на кухне перед сном.

— Я боюсь революции… Знаю: будет русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Но отсиживаться дома уже стыдно. Мне не нужен «новый СССР», «обновленный СССР», «истинный СССР». Со мной нельзя так, что мы, мол, тут сели вдвоем и решили: сегодня — он президент, а завтра — я. Пиплсхавает. Мы — не быдло,
мы — народ. На митингах я вижу тех, кого никогда раньше там не видел: закаленные в борьбе шестидесятники-семидесятники и много студентов, а недавно им было наплевать на то, что там, в зомбоящике, нам втюхивают… И дамы в норковых шубках, и молодые ребята, которые приехали на митинг на «мерседесах». Недавно их увлекали деньги, вещи, комфорт, но оказалось, что этого мало. Им этого уже не хватает. Как и мне. Идут не голодные, а сытые. Плакаты… народное творчество… «Путин, уйди сам!», «Я не голосовал за этих сволочей, я голосовал за других сволочей!». Мне понравился плакат «Вы нас даже не представляете». Мы не собирались штурмом брать Кремль, мы хотели сказать, кто мы. Уходили и скандировали: «Мы еще вернемся».

— Я — человек советский, я всего боюсь. Еще десять лет назад я ни за что бы не вышла на площадь. А сейчас ни одного митинга не пропускаю. Была на проспекте Сахарова и на Новом Арбате. И на Белом кольце. Учусь быть свободной. Я не хочу умереть такой, какая я сейчас — советской. Вычерпываю из себя свою советскость ведрами…

— Я хожу на митинги, потому что туда ходит мой муж…

— Я — человек немолодой. Хочу еще пожить в России без Путина.

— Достали евреи, чекисты, гомосексуалисты…

— Я — левый. Я убежден: мирным путем ничего нельзя добиться. Я жажду крови! Без крови у нас большие дела не делаются. Зачем мы выходим? Я стою и жду, когда мы пойдем на Кремль. Это уже не игры. Кремль давно надо было брать, а не ходить и орать. Дайте команду взять вилы и ломик! Я жду.

— Я вместе с друзьями… Мне семнадцать лет. Что я знаю о Путине? Я знаю, что он дзюдоист, получил восьмой дан по дзюдо. И, кажется, это все, что я о нем знаю…

— Я не ЧеГевара, я трусиха, но я ни одного митинга не пропустила. Хочу жить в стране, за которую мне не стыдно.

— У меня характер такой, что я должна быть на баррикадах. Меня так воспитали. Мой отец добровольцем поехал на ликвидацию последствий землетрясения в Спитаке. Из-за этого рано умер. Инфаркт. С детства я живу не с папой, а с фотографией папы. Идти или не идти — каждый сам должен решить. Мой отец сам поехал… а мог не ехать… Подруга тоже хотела пойти со мной на Болотную площадь, потом позвонила: «Понимаешь, у меня маленький ребенок». А у меня старенькая мама. Я ухожу, она сосет валидол. Но я все равно иду…

— Хочу, чтобы дети мною гордились…

— Мне это нужно для самоуважения…

— Надо попытаться что-то сделать…

— Я верю в революцию… Революция — это долгая и упорная работа. В 1905 году первая русская революция закончилась провалом и разгромом. А через двенадцать лет — в 1917 году рвануло так, что разнесло царский режим вдребезги. Будет и у нас своя революция!

— Я иду на митинг, а ты?

— Я лично устал от девяносто первого… от девяносто третьего… Не хочу больше революций! Во-первых, революции редко бывают бархатными, а во-вторых, у меня есть опыт: даже если мы победим, будет как в девяносто первом. Эйфория быстро кончится. Поле боя достанется мародерам. Придут гусинские, березовские, абрамовичи…

— Я против антипутинских митингов. Движуха в основном в столице. Москва и Петербург за оппозицию, а провинция за Путина. Мы что, плохо живем? Разве мы живем не лучше, чем раньше? Страшно это потерять. Все помнят, как настрадались в девяностые. Никому неохота опять сломать все нахер и кровью залить.

— Я не фанат путинского режима. Надоел «царек», хотим сменяемых руководителей. Перемены, конечно, нужны, но не революция. И когда швыряют асфальтом в полицию, мне тоже не нравится…

— Все проплатил Госдеп. Западные кукловоды. Один раз по их рецептам мы сделали перестройку, и что из этого вышло? Нас погрузили в такую яму! Я хожу не на эти митинги, а на митинги за Путина! За сильную Россию!

— За последние двадцать лет картинка несколько раз полностью менялась. А результат? «Путин, уходи! Путин, уходи!» — очередная мантра. Я не хожу на эти спектакли. Ну, уйдет Путин. И сядет на трон новый самодержец. Как воровали, так и будут воровать. Останутся заплеванные подъезды, брошенные старики, циничные чиновники и наглые гаишники… и дать взятку будет считаться нормальным… Какой смысл менять правительство, если мы сами не меняемся? Ни в какую демократию у нас я не верю. Восточная страна… Феодализм… Попы вместо интеллектуалов…

— Не люблю толпу… Стадо… Толпа никогда ничего не решает, решают личности. Власть постаралась, чтобы наверху не было ярких личностей. У оппозиции нет ни Сахарова, ни Ельцина. Не родила «снежная» революция своих героев. Где программа? Что делать собираются? Походят, покричат… И тот же Немцов… Навальный… пишут в твиттере, что поехали на каникулы на Мальдивы или в Таиланд. Любуются Парижем. Представьте себе, что Ленин в семнадцатом году поехал после очередной демонстрации в Италию или покататься на лыжах в Альпах…

— Я не хожу на митинги и не хожу голосовать. Я не питаю иллюзий…

— А вы в курсе, что кроме вас есть еще Россия? До Сахалина… Так вот она не желает никаких революций — ни «оранжевой», ни «розовой», ни «снежной». Хватит революций! Оставьте Родину в покое!

— Мне плевать на то, что будет завтра…

— Я не хочу идти в одной колонне с коммунистами и националистами… с нациками… Вы бы пошли на марш с Ку-клукс-кланом в балахонах и с крестами? Какую бы замечательную цель этот марш ни имел. Мы о разной России мечтаем.

— Не хожу… Боюсь, что дадут дубинкой по голове…

— Надо молиться, а не на митинги ходить. Господь послал нам Путина…

— Мне не нравятся революционные флаги за окном. Я за эволюцию… за строительство…

— Не хожу… И не буду оправдываться, что не хожу на политические шоу. Дешевые понты — эти митинги. Надо самому жить, как учил Солженицын, не по лжи. Без этого мы ни на миллиметр не продвинемся. Будем ходить по кругу.

— Люблю Родину и так…

— Я выключил государство из зоны своих интересов. Мои приоритеты — семья, друзья и мой бизнес. Понятно объяснил?

— А ты не враг народа, гражданин?

— Что-то обязательно произойдет. И скоро. Пока еще не революция, но запах озона ощущается. Все ждут: кто, где, когда?

— Я только жить нормально начал. Дайте пожить!

— Спит Россия. Не мечтайте.

**Из главы «Десять историй без интерьера»
Об одиночестве, которое очень похоже на счастье**

*АлиcаЗ-лер — менеджер по рекламе, 35 лет*

*Ездила в Петербург за другой историей, а вернулась с этой. Разговорились в поезде с попутчицей…*

— У меня подруга покончила с собой… Сильная, успешная. Много поклонников, друзей. Все мы были в шоке. Самоубийство — что это? Трусость или сильный ход? Радикальный план, крик о помощи или самопожертвование? Выход… ловушка… казнь… Я хочу… Я могу рассказать вам, почему я этого не сделаю…

Любовь? Этот вариант я даже не обсуждаю… Я не против всего этого красивого, блестящего и звенящего, но вы первая за десять лет, наверное, кто при мне произнес это слово. Двадцать первый век — деньги, секс и два ствола, а вы о каких-то чувствах… Все впервые дорвались до денег… Не было у меня желания скорее выйти замуж, нарожать детей, я всегда хотела сделать карьеру, это на первом месте. Я ценю себя, свое время и свою жизнь. И откуда вы взяли, что мужчины ищут любовь? Любофф… Мужчины считают, что женщина — дичь, боевой трофей, жертва, а они — охотники. Правила отработаны веками. А женщины ищут принца не на белом коне, а на золотом мешке. Принца неопределенного возраста… Пусть будет «папочка»… Ну и что? Миром правит бабло! Но я не жертва, я сама охотница…

Десять лет назад я приехала в Москву… Я была бешеная, я была активная, я сказала себе: я рождена для того, чтобы быть счастливой, страдают слабые люди, скромность — украшение слабых. Приехала я из Ростова… Мои родители работают в школе: папа — химик, мама — учитель русского языка и литературы. Поженились они студентами, у папы имелся один приличный костюм, но куча идей в запасе, и тогда этого было достаточно, чтобы вскружить девушке голову. До сих пор они любят вспоминать, что долго обходились одним комплектом постельного белья, одной подушкой и одними домашними тапочками. Ночи напролет читали друг другу Пастернака. Наизусть! С милым рай и в шалаше! «До первых заморозков», — смеялась я. «У тебя нет фантазии», — обижалась мама. У нас была нормальная советская семья: утром — гречка или макароны со сливочным маслом, апельсины один раз в году — на Новый год. Я даже помню их запах. Не сейчас, а тогда… это был запах какой-то другой… красивой жизни… Отпуск летом — на Черном море. Ездили в Сочи «дикарями», жили все в одной комнате — девять метров. Но чем-то же гордились… чем-то очень гордились… Гордились любимыми книжками, которые доставали из-под полы, по великому блату, а еще — радость! — контрамарки (мамина подруга работала в театре) на премьеры. Театр! Вечная тема для разговоров в приличной компании… Сейчас пишут: советский лагерь, коммунистическое гетто. Людоедский мир. Страшного я не помню… Я помню, что он был наивный, тот мир, очень наивный и нелепый. Я всегда знала, что я так жить не буду! Не желаю! Меня за это чуть из школы не выперли. Ой! Ну да… рожденные в СССР — это диагноз… Клеймо! У нас были уроки домоводства, мальчиков почему-то учили водить автомобиль, а девочек — жарить котлеты, и эти проклятые котлеты у меня всегда подгорали. Учительница, она же наша «классная», стала меня воспитывать: «Ты ничего не умеешь! Выйдешь замуж, и как ты будешь кормить своего мужа?» Я отреагировала тут же: «Я не собираюсь жарить котлеты. У меня будет домработница». Восемьдесят седьмой год… мне тринадцать лет… Какой капитализм, какая домработница?! Еще социализм вовсю! Родителей вызвали к директору школы, меня пропесочили на общем собрании в  классе, на совете школьной дружины. Хотели из пионеров исключить. Пионерия, комсомол — это было серьезно. Я даже плакала… Хотя у меня никогда не было рифм в голове, одни формулы… никаких рифм… Когда я оставалась дома одна, я надевала мамино платье, туфли и садилась на диван. Читала «Анну Каренину». Светские балы, слуги, аксельбанты… любовные встречи… Все нравилось до того момента, как Анна бросилась под поезд: зачем? Красивая, богатая… Из-за любви? Даже Толстой меня не убеждал… Западные романы нравились больше, там мне нравились стервы, красивыестервы, из-за которых мужчины стрелялись, мучались. Валялись у ног. В семнадцать лет я последний раз плакала из-за неразделенной любви — всю ночь в ванной комнате с включенным краном. Мама утешала стихами Пастернака… Запомнила: «Быть женщиной — великий шаг, сводить с ума — геройство». Не люблю свое детство и юность не люблю, все время ждала, когда они кончатся. Грызла гранит науки, занималась в тренажерном зале. Всех быстрее, всех выше, всех сильнее! В доме крутили кассеты с песнями Окуджавы: «Возьмемся за руки, друзья…» Нет! Не мой идеал.

В Москву… Москва! Я ее всегда слышу как соперницу, с первой минуты она вызывала во мне спортивную злость. Мой город! Бешеный ритм — кайф! Размах — по моим крыльям! В кармане было двести «зеленых» и немного «деревянных». Все! Лихие девяностые… Родителям давно не платили зарплату. Нищета! Папа каждый день уговаривал себя и нас с мамой: «Надо потерпеть. Подождать. Я верю Гайдару». До сознания таких людей, как мои родители, еще не доходило, что начался капитализм. Русский капитализм… молодой и толстокожий, тот самый, который рухнул в 1917 году… *(Задумалась.)*Понимают ли они это сейчас? Трудно ответить… В одном я уверена: капитализм мои родители не заказывали. Без вариантов. Мой это заказ, таких, как я, тех, кто не захотел оставаться в клетке. Молодых, сильных. Для нас капитализм — это интересно… авантюрное приключение, риск… Это не только деньги. Господин доллар! Сейчас я вам выдам свой секрет! Мне о капитализме, современном капитализме — не романы Драйзера — больше нравится читать, чем о ГУЛАГе и советском дефиците. О стукачах. Ой! Ой! Ах, святое затронула. С родителями я об этом и заикнуться не могу. Ни слова. Что вы! Мой папа остался советским романтиком. В августе девяносто первого… Путч! По телевизору с утра — балет «Лебединое озеро»… и танки в Москве, как в Африке… И папа, а с ним еще человек семь, все его друзья, они прямо с работы рванули в столицу. Революцию поддержать! Я сидела у телевизора… Запомнила Ельцина на танке. Рушилась империя… Пусть рушится… Ждали папу, как с войны, — вернулся он героем! Я думаю, что он до сих пор этим живет. Через энное количество лет я понимаю, что это — самое главное, что было в его жизни. Как у нашего дедушки… Тот всю жизнь рассказывал, как они били немцев под Сталинградом. После империи папе жить скучно и неинтересно, ему нечем жить. В основном, они разочарованы… Его поколение… У них чувство двойного поражения: сама коммунистическая идея потерпела крах, и то, что после нее получилось, им тоже непонятно, они это не принимают. Другого они хотели, если капитализма, то с человеческим лицом и обаятельной улыбкой. Не их это мир. Чужестранный. Но это мой мир! Мой! Я счастлива, что советских людей я вижу только на Девятое мая… *(Молчит.)*

Ехала я в столицу автостопом — так дешевле, и чем больше смотрела в окно, тем злее становилась, я уже знала, что из Москвы не вернусь. Ни за какие коврижки! По обе стороны базар… Торговали чайными сервизами, гвоздями, куклами — людям платили товаром. Можно было утюги или сковородки поменять на колбасу (на мясокомбинатах рассчитывались колбасой), на конфеты, сахар. Возле одной автобусной будки сидела толстая тетка, обвешанная, как лентами с патронами, детскими игрушками. Мультик! В Москве лил дождь, но я все равно пошла на Красную площадь, чтобы увидеть купола Василия Блаженного и Кремлевскую стену — эта мощь, сила, и я здесь! В самом сердце! Я шла и хромала, перед отъездом сломала в тренажерном зале мизинец на ноге, но я была на высоких каблуках и в своем лучшем платье. Конечно, судьба — это везение, карта, но у меня есть чутье, и я знаю, чего хочу. Вселенная ничего не дает просто так… задаром… На — тебе! И — тебе! Надо очень хотеть. Я хотела! Мама привозила только домашние пирожки и рассказывала, как они с папой ходят на митинги демократов. А по талонам в месяц на человека давали: два килограмма крупы, по одному килограмму мяса и двести граммов масла. Очереди, очереди, очереди и номера на ладонях. Мне не нравится слово «совок»! Мои родители — не «совки», они — романтики! Дошколята в нормальной жизни. Я их не понимаю, но я их люблю! Шла по жизни одна… в одиночку… в шоколаде не была… И мне есть за что себя любить! Без репетиторов, без денег и протекции я поступила в МГУ. На факультет журналистики… На первом курсе влюбился в меня однокурсник и спросил: «А ты влюблена?» — На что я ответила: «Я влюблена в себя». Я всего добилась сама. Сама! С однокурсниками было неинтересно, на лекциях скучно. Учили советские преподаватели по советским учебникам. А вокруг кипела уже несоветская жизнь — диковинная, сумасшедшая! Появились первые бэушные иномарки — восторг! Первый «Макдональдс» на Пушкинской… Польская косметика… и страшный слух, что она — для покойников… Первая реклама на телевидении — рекламировался турецкий чай. Все раньше было серое, а тут — яркие цвета, броские вывески. Всего хотелось! Все можно было получить! Ты мог быть кем хочешь: брокером, киллером, геем… Девяностые годы… для меня благословенные… незабываемые… Время завлабов, бандитов и авантюристов! Советскими оставались только вещи, а люди уже с другой программой в голове… Будешь крутиться и вертеться — и ты получишь все. Какой Ленин? Какой Сталин? Это уже позади, перед тобой открывается офигенная жизнь: ты можешь увидеть весь мир, жить в прекрасной квартире, кататься на роскошной машине, есть на обед слонятину… У России разбежались глаза… Улица и тусовки учили быстрее, и я перевелась на заочное отделение. Нашла работу в газете. Жизнь нравилась мне с самого утра.

Я смотрела вверх… на высокую лестницу жизни… Я не мечтала, чтобы меня трахали в подъездах или в саунах и за это водили по дорогим ресторанам. У меня было много поклонников… На ровесников я не обращала внимания, с ними я могла дружить, ходить вместе в библиотеку. Несерьезно и безопасно. А нравились мне мужчины постарше и успешные, уже состоявшиеся. С ними было интересно, смешно и полезно. А на меня… *(Смеется.)*На мне долго стояло клеймо — девочки из хорошей семьи, из дома, где много книг, главный в доме — книжный шкаф, и на меня обращали внимание писатели и художники. Непризнанные гении. Но я не собиралась посвятить свою жизнь гению, которого призн*а*ют после его жизни и будут нежно любить потомки. А потом все эти разговоры, надоевшие мне еще дома: о коммунизме, о смысле жизни, о счастье для других… о Солженицыне и Сахарове… Нет, это были герои не моего романа, а герои моей мамы. Тех, кто читал и мечтал летать, как чеховская чайка, сменили те, кто не читал, но мог летать. Весь прежний джентльменский набор выпал в осадок: самиздат, разговоры шепотом на кухне. Какой позор — наши танки были в Праге! Да они уже были в Москве! Кого этим удивишь? Вместо стихов самиздата — кольцо с бриллиантом, дорогие лейблы одежд… Революция желаний! Хотений! Мненравились… я люблю чиновников и бизнесменов… Меня вдохновлял их словарь: оффшоры, откаты, бартеры. Сетевой маркетинг, креативный подход… В редакции на планерках редактор говорил: «Нужны капиталисты. Помогаем Ельцину и гайдаровскому правительству делать капиталистов. Срочно!» Я была молодая… красивая… Меня посылали брать интервью у этих капиталистов: как они стали богатыми? Как заработали первый миллион? Социалистические люди превращались в капиталистических? Надо было это описать… Почему-то именно миллион покорял воображение. Заработать миллион! Мы привыкли, что русский человек вроде бы и не хочет быть богатым, даже боится. Чего же он хочет? А он всегда хочет одного: чтобы кто-то другой не стал богатым. Богаче, чем он. Малиновые пиджаки, золотые цепи… Это из кино… из телесериалов… Те, кого я встречала: с железной логикой и железной хваткой. Системное мышление. Все учили английский. Менеджмент. Академики и аспиранты уезжали из страны… физики и лирики… А эти… новые герои… они никуда не хотели уезжать, им нравилось жить в России. Это был их час! Их шанс! Они хотели быть богатыми, они всего хотели. Всего!

И тут я встретила его… Я думаю, что я любила этого человека. Звучит как откровение… Да?*(Смеется.)* Он был старше меня на двадцать лет, у него семья и двое сыновей. Ревнивая жена. Жизнь под микроскопом… Но мы сходили друг от друга с ума, такой порыв и взвод, что он признавался: утром, чтобы не заплакать на работе, он принимал две таблетки тазепама. Я тоже совершала сумасшедшие поступки, только что с парашютом не прыгала. Это все было… так бывает… конфетно-букетный период… Еще не важно, кто кого обманывает, кто за кем охотится и кто чего хочет. Я была маленькая, двадцать два года… Я влюбилась… влюбилась… Теперь я понимаю, что любовь — это своего рода бизнес, у каждого свой риск. Будь готова к новой комбинации… Всегда! Теперь от любви редко кто млеет. Все силы — на прыжок! На карьеру! Молодые девчонки у нас в курилке треплются, и если у кого-то настоящее чувство — жалеют: дура, мол, втюрилась. *(Смеется.)*Дура! Я была такая счастливая дура! Он отпускал водителя, ловил машину, и мы катались по ночному городу на каком-то пропахшем бензином «Москвиче». Без конца целовались. «Спасибо тебе, — говорил он, — ты вернула меня на сто лет назад». Флэш-эпизоды… флэш… Меня ошеломлял его ритм… напор… Звонок вечером: «Утром летим в Париж» или: «Махнем на Канары. У меня есть три дня». В самолете летим первым классом, номер в самом дорогом отеле — под ногами стеклянный пол, там живые рыбы плавают. Живая акула! Но запомнилось на всю жизнь другое… Запомнился пропахший бензином «Москвич» на московской улице. И… как мы целовались… безумные… он доставал мне радугу из фонтана… Я влюбилась… *(Молчит.)* А он устраивал себе праздник жизни. Для себя… себе — да! Когда мне стукнет сорок, может быть, я его пойму… когда-нибудь пойму… Вот, например, он не любил часы, когда они шли, он любил их только тогда, когда они стояли. У него были свои отношения со временем… Во-о-от! Да-а-а… Обожаю кошек. Я люблю их за то, что они не плачут, никто не видел их слез. Если кто-то встретит меня на улице, подумает — богатая и счастливая! У меня есть все: большой дом, дорогая машина, итальянская мебель. И дочка, от которой я в восторге. У меня есть домработница, я не жарю сама котлеты и не стираю белье, могу купить все, что захочу… горы безделушек… Но я живу одна. И хочу жить одна! Мне ни с кем так не бывает хорошо, как с собой, я люблю говорить сама с собой… в первую очередь о себе… Отличная компания! Что я думаю… чувствую… Как вчера на это смотрела и как сегодня? То мне нравился синий цвет, а теперь лиловый… В каждом из нас столько всего происходит. В себе. С собой. Там, внутри, целый космос. Но мы на него почти не обращаем внимания. Все заняты внешним, наружным… *(Смеется.)* Одиночество — это свобода… Я каждый день теперь радуюсь, что я свободна: позвонит — не позвонит, приедет — не приедет? Бросит — не бросит? — увольте! Не мои проблемы! Ну нет… не боюсь я одиночества… Я боюсь… кого я боюсь? Стоматолога я боюсь… *(Неожиданно срывается.)* Люди всегда врут, когда говорят о любви… и о деньгах… врут всегда и по-разному. Мне врать неохота… Ну неохота! *(Успокаивается.)*Извините… Ну извините… Я давно не вспоминала…

Сюжет? Вечный сюжет… Я хотела от него ребенка, я забеременела… Может, он испугался? Мужчины — они трусы! Бомж или олигарх — нет никакой разницы. На войну пойдут, революцию сделают, а в любви предадут. Женщина сильнее: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». И по законам жанра… «А кони все скачут и скачут. А избы горят и горят»… «Мужчина не бывает старше четырнадцати лет», — впервые дала мне разумный совет моя мама. Помню, что… было так… Преподнесла эту новость ему перед своей командировкой, меня послали на Донбасс. А я любила командировки, любила запах вокзалов и аэропортов. Было интересно, когда возвращалась, рассказать ему, вместе обсудить. Я сейчас понимаю, что он не только открывал мне мир, удивлял и водил по умопомрачительным бутикам, одаривал, он еще учил меня думать. Не то чтобы у него была такая задача, это само собой получалось. Смотрела на него, слушала. Даже когда я думала о том, что мы будем вместе, я не собиралась навсегда поселиться за чьей-то широкой спиной и там беспечно гламурить. Балдеть! У меня имелся свой план жизни. Любила свою работу, быстро делала карьеру. Много ездила… И в тот раз… Я летела в шахтерский поселок — история страшная, но можно сказать, типичная для того времени: передовых шахтеров наградили к празднику магнитофонами, и ночью одну семью всю вырезали. Ничего не взяли — только магнитофон. Пластмассовый «панасоник»! Коробку!
В Москве — шикарные машины, супермаркеты, а за Садовым кольцом — магнитофон был чудом. Местные «капиталисты», о которых мечтал мой редактор, ходили по улицам в окружении свиты автоматчиков. В туалет — с охранником. Но тут казино, и здесь казино, и еще раз казино. И уже какой-то частный ресторанчик. Все те же девяностые годы… Они — да… они… Три дня я была в командировке. Вернулась, и мы встретились. Сначала он обрадовался — у нас будет… скоро у нас будет ребенок! У него двое мальчиков, хотел девочку. Но слова… слова… они ничего не значат, за слова прячутся, ими защищаются. Глаза! Его глаза… В глазах появился страх: надо же что-то решать, менять свою жизнь. Тут… тут — заминка… Сбой. Ах-х-х! Есть мужчины, которые уходят сразу, они уходят с чемоданами, куда уложены еще сырые носки и рубашки… А есть такие, как он… Муси-пуси, трали-вали… «Что ты хочешь? Скажи, что я должен сделать? — спрашивал он меня. — Одно твое слово — и я разведусь. Ты только скажи». Я смотрела на него…

Я смотрела на него, и у меня холодели кончики пальцев, уже начала понимать, что счастливой с ним не буду. Маленькая и глупая… Сейчас я бы зафлажковала его, как волка на охоте, я умею быть хищницей и пантерой. Стальной нитью! Тогда я только страдала. Страдание — это танец, в нем и жест, и плач, и смирение. Как в балете… Но есть один секрет, простой секрет — неприятно быть несчастливой… унизительно… В очередной раз я лежала в больнице на сохранении. Звоню ему утром, что меня надо забрать, к обеду выпишут, а он сонным голосом: «Не могу. Сегодня не могу». И не перезвонил. В этот день он улетел с сыновьями в Италию, кататься на лыжах. Тридцать первое декабря… Завтра — Новый год. Вызвала такси… Город завалило снегом, я шла через сугробы, держась за пузо. Шла одна. Неправда! Вдвоем, мы уже были вдвоем. С моей дочкой… дочуркой… Моей! Обожаемой! Я уже любила ее больше всех на свете! Любила ли я его? Как в той сказке: жили они долго и счастливо и умерли в один день. Страдала, но не умирала: «Я не могу без него жить. Я без него умру». Я, наверное, еще не встретила такого мужчину… для таких слов… Таки да! Да-да-да! Но я научилась проигрывать, я не боюсь проигрывать… *(Смотрит в окно.)*У меня с тех пор нет больших историй… Были романчики… Я легко вхожу в секс, но это не то, это другое. Мне не нравится запах мужчин, не запах любви, а запах мужчин. В ванной комнате я всегда слышу, что здесь был мужчина… пусть у него самый дорогой парфюм, дорогие сигареты… Меня охватывает ужас, когда я подумаю, сколько надо трудиться, чтобы возле тебя был другой человек. Как в каменоломне! Забыть о себе, отказаться от себя, освободиться от себя. В любви нет свободы. Даже если вы найдете свой идеал, у него будут не те духи, он будет любить жареное мясо и смеяться над вашими салатиками, не там оставлять носки и брюки. И всегда надо страдать. Страдать?! Из-за любви… из-за этой композиции… Я не хочу больше делать эту работу, мне легче надеяться на себя. С мужчинами лучше дружить, иметь деловые отношения. Мне даже кокетничать редко охота, лень надевать эту маску, вступать в игру. Спа-салон, френч-маникюр, итальянское наращивание. Макияж. Боевой раскрас… Боже мой! Боже мой! Девочки из Тьмутараканска… Со всей России — в Москву! В Москву! Там ждут их богатые принцы! Они мечтают, что из золушек их превратят в принцесс. Ожидание сказки! Чуда! Я через это… уже проехала… Понимаю Золушек, но мне их жалко. Рай без ада не бывает. Чтобы один рай… так не бывает… Но они еще этого не знают… в неведении…

Прошло семь лет, как мы расстались… Он мне звонит, звонит всегда почему-то ночью. У него все плохо, потерял много денег… говорит, что несчастлив… Была одна молодая девочка, сейчас другая. Предлагает: давай встретимся… Зачем? *(Молчит.)* Мне долго его не хватало, я выключала свет и часами сидела в темноте. Терялась во времени… *(Молчит.)*Потом… потом были только романчики… Но я… Я никогда не смогу влюбиться в мужчину без денег, из спального района. Из панельного гетто, из Гарлема. Я ненавижу тех, кто рос в нищете, с «нищенским» менталитетом, деньги значат для них так много, что им нельзя доверять. Не люблю бедных, униженных и оскорбленных. Всех этих башмачкиных и опискиных… героев великой русской литературы… Не доверяю им! Что? Что-то со мной не так… не вписываюсь в формат? Подождите… Никто не знает, как устроен этот мир… Мужчина мне нравится не за деньги, не только за деньги. Мне нравится весь образ успешного мужчины: как он ходит, как он водит машину, как говорит, как ухаживает — все у него другое. Все! Я таких выбираю… За это…*(Молчит.)* Он звонит… он  не счастлив… Чего же он такого не видел и не может купить? Он… и его друзья… Деньги уже заработаны. Большие деньги. Сумасшедшие! Но за все свои деньги они не могут купить себе счастье, эту самую любовь. Любовь-морковь. У бедного студента она есть, а у них нет. Вот такая несправедливость! А им кажется, что они могут все: на личных самолетах летают в любую страну на футбольный матч, в Нью-Йорк — на премьеру мюзикла. Все — по карману! Затащить в постель самую красивую модель, привезти их в Куршевель — целый самолет! Все мы Горького в школе проходили, знаем, что такое купеческий загул — бить зеркала, лежать мордой в черной икре… купать девиц в шампанском… Но все надоело — скучно им. Московские турагентства предлагают таким клиентам особые развлечения. Например, два дня в тюрьме. В рекламе так и написано: «Хотите побыть два дня Ходорковским?» В милицейской машине с решетками их везут в город Владимир в самую страшную тюрьму — Владимирский централ, там переодевают в арестантскую робу, гоняют по двору с собаками и бьют резиновыми дубинками. Настоящими! Напихивают, как селедку, в грязную вонючую камеру с парашей. И они — счастливы. Новые ощущения! За три-пять тысяч долларов можно еще поиграть в «бомжей»: желающих переодевают, гримируют и разводят по московским улицам, они попрошайничают. Правда, рядом за углом дежурят охранники — собственные и от турфирмы. Есть предложения и покруче, для всей семьи: жена — проститутка, муж — сутенер. Знаю историю… Однажды больше всех за вечер сняла клиентов скромная, с советской внешностью жена богатейшего московского кондитера. И муж был счастлив! Есть развлечения, о которых нет сообщений в туристских рекламах… Совершенно секретно… Можно устроить ночью охоту на живого человека. Несчастному бомжу дают тысячу баксов: вот они, «зеленые» — твои! Он сроду таких денег не видал! А за это — поработай зверем! Спасешься — значит, судьба, пристрелят — не взыщи. Все по-честному! Можно взять девочку на ночь… Дать волю фантазиям, низу живота, да так, что маркизу де Саду не снилось! Кровь, слезы и сперма!! Это называется — счастьем… Счастье по-русски — попасть в тюрьму на два дня, чтобы потом выйти оттуда и понять, как у тебя все хорошо. Прекрасно! Купить не только машину, дом, яхту, депутатское кресло… но и человеческую жизнь… Побыть если не богом,
то божком… сверхчеловеком! Ну да… И все!! Все рожденные в СССР, еще все
оттуда. С этим диагнозом. А такой… Такой наивный был мир… мечтали хорошего человека сделать… Обещали: «железной рукой загоним человечество в счастье…». В земной рай.

У меня был разговор с моей мамой… Она хочет уйти из школы: «Устроюсь гардеробщицей. Или сторожем». Вот она рассказывает детям о книгах Солженицына… о героях и праведниках… У нее горят глаза, а у детей — нет. А мама привыкла, что у детей раньше горели глаза от ее слов, а сегодняшние дети ей отвечают: «Нам даже интересно, как вы жили, но мы так жить не хотим. Мы не мечтаем о подвигах, мы хотим жить нормально». Проходят они «Мертвые души» Гоголя. Историю подлеца… Так нас в школе учили… А сегодня сидят в классе другие дети: «Почему это он подлец? Чичиков, как Мавроди, построил пирамиду из ничего. Это классная бизнес-идея!» Чичиков для них положительный герой… *(Молчит.)* Мою дочь мама воспитывать не будет… Я не дам. Если ее послушать, то ребенок должен смотреть только советские мультики, потому что они «человеческие». Но выключаешь мультик — и выходишь на улицу. В совершенно другой мир. «Как хорошо, что я уже старая, — призналась мама. — Могу дома сидеть. В своей крепости». А раньше она всегда хотела быть молодой: маска из сока помидоров, волосы ополаскиваем ромашкой…

По молодости я любила менять судьбу, дразнить ее. Сейчас нет, хватит. У меня растет дочь, я думаю о ее будущем. А это — деньги! Я хочу заработать их сама. Не хочу просить, ни у кого не хочу брать. Не хочу! Ушла из газеты в рекламное агентство — там платят больше. Хорошие деньги. Люди хотят жить красиво — это главное, что сегодня с нами происходит. И это волнует всех. Включите телевизор: на митинги собираются… ну пусть несколько десятков тысяч человек, а красивую итальянскую сантехнику покупают миллионы. Кого ни спросишь, все перестраивают, ремонтируют свои квартиры и дома. Путешествуют. Никогда так в России не было. Мы рекламируем не только товары, но и потребности. Производим новые потребности — как жить красиво! Управляем временем… Реклама — зеркало русской революции… Моя жизнь забита до отказа. Замуж не собираюсь… Есть друзья, все они богатые люди. Один «растолстел» на нефти, второй — на минеральных удобрениях… Встречаемся, чтобы поговорить. Всегда в дорогом ресторане: мраморный холл, старинная мебель, дорогие картины на стенах… швейцары с осанкой русских помещиков… Я люблю находиться в красивых декорациях. Мой близкий друг тоже живет один и не хочет жениться, ему нравится быть одному в своем трехэтажном особняке: «Ночью спать вдвоем, а жить одному». Днем у него голова пухнет от котировок цветных металлов на Лондонской бирже. Медь, свинец, никель… В руках три мобильных телефона, трезвонят каждые тридцать секунд. Работает он по тринадцать-пятнадцать часов в сутки. Без выходных и отпусков. Счастье? Что такое счастье? Мир изменился… Сейчас одинокие — это успешные, счастливые люди, а не слабые или неудачники. У них есть все: деньги, карьера. Одиночество — это выбор. Я хочу находиться в пути. Я — охотница, а не смиренная дичь. Я сама выбираю. Одиночество очень похоже на счастье… Звучит, как откровение… Да? *(Молчит.)* Я даже не вам, а себе хотела все это
рассказать…

**О желании их всех убить,
а потом о страхе, что тебе этого хотелось**

*Ксения Золотова — студентка, 22 года*

*На первую нашу встречу пришла ее мама. Призналась: «А Ксюша не захотела со мной пойти. Отговаривала и меня: "Мама, кому мы нужны? Им нужны только наши чувства, наши слова, а сами мы им не нужны, потому что они этого не пережили"». Она очень волновалась — то поднималась, чтобы уйти: «Я стараюсь не думать об этом. Больно повторять», то начинала рассказывать, и ее нельзя было остановить, но больше молчала. Чем я могла ее утешить? С одной стороны, прошу: «Не волнуйтесь. Успокойтесь», а с другой — хочу, чтобы она вспомнила тот страшный день: 6 февраля 2004 года — теракт в Москве на Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». В результате взрыва погибло 39 человек и 122 были госпитализированы.*

*Хожу и хожу по кругам боли. Не могу вырваться. В боли есть все — и мрак, и торжество, иногда я верю, что боль — мост между людьми, скрытая связь, а в другой раз в отчаянии думаю, что это — пропасть.*

*От той двухчасовой встречи в блокноте осталось несколько абзацев:*

*«…быть жертвой — это настолько унизительно… Просто стыдно. Я вообще не хочу с кем-либо об этом разговаривать, я хочу быть как все, а получается — одна и одна. Могу заплакать везде. Бывает, иду по городу и плачу. Мне один незнакомый мужчина сказал: "Что ты плачешь? Такая красивая — и плачешь". Во-первых, красота никогда мне в жизни не помогала, а во-вторых, я чувствую эту красоту как предательство, она не соответствует тому, что у меня внутри…*

*…у нас две дочери — Ксюша и Даша. Мы жили скромно, но много ходили в музеи, в театры, много читали. Когда девочки были маленькие, папа им сказки сочинял. Мы хотели спасти их от грубой жизни. Я думала, что искусство спасает. А оно не спасло…*

*…в нашем доме живет одинокая старушка, ходит в церковь. Однажды она остановила меня, я решила — посочувствует, а она мне по-злому: "Задумайтесь, почему это с вами случилось? С вашими детьми?" Зачем… за что мне эти слова? Она покаялась, я думаю, она потом покаялась… Я никого не обманула, я никого не предала. У меня было только два аборта, это два моих греха… Я знаю… На улице часто подаю милостыню, пусть немного, сколько могу. Птиц зимой кормлю…»*

*В следующий раз они уже пришли вдвоем — мама и дочь.*

*Мать:*

— Может, для кого-то они герои? У них есть идея, они чувствуют себя счастливыми, умирая, они думают, что попадут в рай. И не боятся смерти. Я ничего про них не знаю: «Составлен фоторобот предполагаемого террориста…» — и все. А для них мы мишени, им никто не объяснил, что моя девочка не мишень, у нее есть мама, которая без нее жить не может, есть мальчик, который в нее влюблен. Разве можно убивать человека, которого любят? По-моему, это двойное преступление. Идите на войну, в горы, стреляйте там друг в друга, но почему в меня? В мою дочь? Нас убивают среди мирной жизни… *(Молчит.)* Я теперь боюсь сама себя, своих мыслей. Иногда хочется их всех убить, а потом страшно, что тебе этого хотелось.

Когда-то я любила московское метро. Самое красивое в мире! Это — музей! *(Молчит.)* После взрыва… Я видела, как люди заходили в метро, взявшись за руки. Страх долго не притуплялся… Страшно было в город выйти, у меня сразу давление поднималось. Ездили и высматривали подозрительных пассажиров. На работе только об этом и говорили. Что с нами творится, а, Господи? Стою на платформе, и рядом со мной молодая женщина с детской коляской, у нее черные волосы, черные глаза — не русская. Не знаю, какой она национальности — чеченка, осетинка? Кто? Я не выдержала и заглянула в коляску: а ребенок ли там? Не лежит ли там что-нибудь другое? У меня испортилось настроение из-за того, что мы сейчас будем ехать в одном вагоне: «Нет, — думаю, — пускай она едет, а я подожду следующий поезд». Ко мне подходит мужчина: «Почему вы заглянули в коляску?» — Я сказала ему
правду. — «Значит, и вы тоже».

…Вижу свернувшуюся в комочек несчастную девочку. Это моя Ксюша. Почему она здесь одна? Без нас? Нет, это невозможно, это не может быть правдой. Кровь на подушке… «Ксюша! Ксюшенька!» — она меня не слышит. Натянула на голову какую-то шапочку, чтобы я ничего не увидела, не испугалась. Моя девочка! Она мечтала стать детским врачом, а теперь у нее нет слуха, она была самая красивая девочка в классе… А теперь… ее личико… За что? Что-то вязкое, тягучее обволакивает меня, сознание просто раскалывается на мелкие кусочки. Мои ноги не хотят двигаться, ватные, меня выводят из палаты. Врач ругает: «Возьмите себя в руки, иначе больше к ней не пустим». Я беру себя в руки... Возвращаюсь в палату… Смотрит не на меня, а куда-то мимо, как будто меня не узнает. Есть выражение глаз страдающего животного, этот взгляд нельзя вынести. Дальше жить почти нельзя. Теперь она куда-то спрятала этот взгляд, надела на себя панцирь, но она где-то держит это все. Это все в нее впечаталось. Все время она там, где нас не было…

Целое отделение таких девочек… как ехали в вагоне, так и лежали… Много студентов, школьников. Я думала, что все матери выйдут на улицу. Все матери со своими детьми. Нас будут тысячи. Теперь я знаю, что моя девочка нужна только мне, только дома, только нам. Слушают… сочувствуют… но без боли! Без боли!

Возвращалась из больницы домой и лежала без всяких чувств. Дашенька была рядом, она взяла отпуск. Гладила меня по голове, как маленькую. Папа не кричал, не паниковал — и инфаркт. Мы оказались в аду… Опять — за что? Я всю жизнь своим девочкам подсовывала хорошие книжки, убеждала их, что добро сильнее зла, добро всегда побеждает. Но жизнь — это не книжки. Молитва матери со дня моря достанет? Неправда! Я предательница, я не смогла защитить их, как в детстве, а они надеялись на меня. Если бы моя любовь защищала, они были бы недосягаемы ни для какой беды, ни для каких разочарований.

Одна операция… вторая… Три! Вот Ксюша стала слышать на одно ушко… пальчики уже у нас работают… Жили на границе между жизнью и смертью, между верой в чудо и несправедливостью, и, хотя я медсестра, я поняла, что крайне мало знаю о смерти. Много раз ее видела, она проходила рядом. Поставить капельницу, послушать пульс… Все думают, что медики знают о смерти больше остальных, — ничего подобного. Был у нас один патологоанатом, он уже уходил на пенсию. «Что такое смерть?» — спросил он меня. *(Молчит.)* Прежняя жизнь превратилась в белое пятно… Вспоминалась одна Ксюша… Все до нюансов — как маленькая, смелая, забавная, она не боялась больших собак и хотела, чтобы всегда было лето. Как сияли ее глаза, когда она пришла домой и объявила нам, что поступила в мединститут. Без взяток, без репетиторов. Платить мы не могли, для нашей семьи это было непосильно. Как за день или два до теракта она берет старую газету и читает: если вы попали в какую-то экстремальную ситуацию в метро, надо делать то… то… Что именно, я уже забыла, но это была инструкция. И когда все случилось, пока не потеряла сознание, Ксюша эту статью вспоминала. А  в  то утро было так… Она как раз забрала свои сапожки из ремонта, надела уже пальто и стала их натягивать, а они не налезают… «Мама, я твои сапоги надену?» — «Бери». У нас с ней размер одинаковый. Мое материнское сердце ничего мне не подсказало… Я же могла ее удержать… В снах перед этим я видела большие звезды, какое-то созвездие. Никакой тревоги не появилось… Это моя вина, я раздавлена этой виной…

Если бы разрешили, то ночевала бы в больнице, была бы мамой для всех. Кто-то рыдает на лестнице… Кого-то обнять надо, с кем-то посидеть. Девочка из Перми плакала — мама далеко. У другой ножку раздавило… Ножка — это дороже всего! Всего дороже ножка твоего ребенка! Кто меня за это упрекнет?

Первые дни о теракте много писали в газетах, показывали репортажи по телевизору. Когда Ксюша увидела свою напечатанную фотографию, она выбросила эту газету…

*Дочь:*

...я многое не помню… Не держу в памяти! Не хочу! *(Мать обнимает ее.
Успокаивает.)*

…под землей все страшнее. Теперь я всегда ношу с собой фонарик в сумочке…

…не было слышно ни плача, ни крика. Стояла тишина. Все лежали в общей куче… нет, не страшно… Потом стали шевелиться. В какой-то момент до меня дошло, что надо уходить отсюда, там же все химическое, и оно горит. Я еще искала свой рюкзак, где лежали мои конспекты, кошелек… Шок… шок был… боли не чувствовала…

…женский голос звал: «Сережа! Сережа!» Сережа не отзывался… Несколько человек остались сидеть в  вагоне в неестественных позах. Один мужчина висел на стойке, как червяк. Я боялась смотреть в ту сторону…

…шла, и меня качало… Отовсюду слышалось: «Помогите! Помогите!» Кто-то передо мною двигался как сомнамбула, то медленно вперед пройдет, то назад. Нас с ним все обгоняли.

…наверху ко мне подбежали две девушки, какую-то тряпочку прилепили на лоб. Мне было почему-то ужасно холодно. Дали стульчик, я села. Видела, как они просили у пассажиров ремни и галстуки, и перетягивали ими раны. Дежурная станции кому-то кричала в телефон: «Что вы хотите? Люди выходят из тоннеля и тут же умирают, поднимаются на платформу и умирают…» *(Молчит.)*Зачем вы нас мучаете? Мне маму жалко. *(Молчит.)* Все уже к этому привыкли. Включат телевизор, послушают, и пошли пить кофе…

*Мать:*

— Я выросла в глубоко советское время. Самое-самое. Родом из СССР. А новая Россия… я еще ее не понимаю. Не могу сказать, что хуже — то, что сейчас, или история КПСС? У меня в голове советский образ, та матрица, я половину жизни провела при социализме. Застряло это во мне. Не выбить. И хочу ли я с этим расстаться — не знаю. В то время жить было плохо, а теперь страшно. Утром разбегаемся: мы на работу, девочки на учебу, и целый день трезвоним друг другу: «Что там у тебя? Во сколько едешь домой? Каким транспортом?» Собираемся все дома вечером, и только тогда у меня наступает облегчение или, по крайней мере, передышка. Я всего боюсь. Дрожу. Девочки ругают: все ты, мама, преувеличиваешь… Я нормальная, но мне нужна эта защита, эта оболочка — мой дом. У меня папы рано не стало, может, поэтому я такая ранимая, тем более, что папа меня сильно любил.*(Молчит.)* Наш папочка был на войне, два раза горел в танке… По войне прошагал — уцелел. Пришел домой — убили. В подворотне.

Училась я по советским книгам, совершенно другому нас учили. Просто вам для сравнения… В этих книгах о первых русских террористах писали, что они герои. Мученики. Софья Перовская, Кибальчич… Погибали они за народ, за святое дело. Бросили бомбу в царя. Эти молодые люди часто были из дворян, из хороших семей…Почему мы удивлены, что такие люди сегодня есть? *(Молчит.)* На уроках истории, когда проходили Великую Отечественную войну, учитель нам рассказывал о подвиге белорусской партизанки Елены Мазаник, которая убила гауляйтера Белоруссии Кубе, прикрепив бомбу к кровати, где он спал с беременной женой. А в соседней комнате, за стенкой, находились их маленькие дети… Сталин лично наградил ее Звездой Героя. До конца жизни она ходила в школы и на уроках мужества вспоминала о своем подвиге. Ни учитель… никто… Никто не говорил нам, что за стенкой спали дети… Мазаник была няней этих детей… *(Молчит.)* После войны совестливым людям стыдно вспоминать о том, что им приходилось делать на войне. Папа наш страдал…

На «Автозаводской» взорвался мальчик-смертник. Чеченский мальчик. От родителей узнали о нем, что он много читал. Любил Толстого. Он вырос на войне: бомбежки, артобстрелы…. видел, как погибли его двоюродные братья — и в четырнадцать лет сбежал в горы к Хаттабу. Хотел отомстить. Наверное, это был чистый мальчик, с горячим сердцем… Над ним смеялись: ха-ха… дурак малолетний… А он научился стрелять лучше всех и бросать гранаты. Мама его нашла и притащила обратно в село, она хотела, чтобы он окончил школу и стал плиточником. Но через год он снова исчез в горах. Его научили взрывать, и он приехал в Москву… *(Молчит.)*Если бы он убивал за деньги, было бы все понятно, но он убивал не за деньги. Этот мальчик мог броситься под танк и взорвать роддом…

Кто я? Мы из толпы… всегда в толпе… Наша жизнь будничная, незаметная, хотя мы стараемся жить. Любим, страдаем. Только никому это не интересно, книг про нас не пишут. Толпа… масса. Меня никто не расспрашивал о моей жизни,  поэтому я с вами так разговорилась. «Мама, прячь душу», — это мои девочки. Все время учат меня. Молодые живут в более жестком мире, чем был советский мир…*(Молчит.)* Такое ощущение, что жизнь как будто уже не для нас, не для таких, как мы, она где-то там. Где-то… Что-то происходит, но не с нами… Я не хожу в дорогие магазины, стесняюсь: там стоят охранники, они смотрят на меня с презрением, потому что одеваюсь я на рынке. В китайский ширпотреб. Езжу в метро, смертельно боюсь, но езжу. Те, кто побогаче, в метро не катаются. Метро для бедных, а не для всех, опять у нас появились князья и бояре и тягловый народ. Забыла уже, когда в кафе сидела, оно мне давно не по карману. И театр уже роскошь, а когда-то я не пропускала ни одной премьеры. Обидно… очень обидно… Какая-то серость из-за того, что мы не допущены в этот новый мир. Муж приносит книги из библиотеки сумками, это единственное, что нам по-прежнему доступно. Можем еще побродить по старой Москве, по нашим любимым местам — Якиманка, Китай-город, Варварка. Это наш панцирь, теперь каждый наращивает себе панцирь. *(Молчит.)* Нас учили… У Маркса написано: «Капитал — это кража». И я с ним согласна.

Я знала любовь… Всегда чувствую: любил человек или нет, с тем, кто любил, у меня интуитивная связь. Без слов. Вспомнила сейчас первого мужа… Любила? —
Да. — Сильно? — Безумно. Мне было двадцать лет. В голове одни мечты. Жили с его красивой старой мамой, она меня ревновала: «Ты такая же красивая, как я в молодости». Цветы, которые он дарил мне, она забирала в свою комнату. Я ее потом поняла, может, только сейчас я ее поняла, когда знаю, как люблю своих девочек, какая может быть тесная связь с ребенком. Меня психолог хочет убедить: «У вас гипертрофированная любовь к детям. Так нельзя любить». Да нормальная у меня любовь… Любовь! Моя жизнь… вот моя-моя… Никто не знает рецепта*… (Молчит.)*Муж меня любил, но у него была философия: невозможно прожить жизнь с одной женщиной, надо познать других. Я много думала… плакала… Смогла и отпустила. Осталась с маленькой Ксюшей одна. Второй муж… Был он мне как брат, а я всегда мечтала о старшем брате. Растерялась. Не знала, как мы будем с ним жить, когда он сделал мне предложение. Чтобы рожать детей, в доме должно пахнуть любовью. Перевез он нас с Ксюшей к себе: «Давай попробуем. Не понравится, я отвезу вас обратно». И как-то у нас с ним наладилось. Любовь бывает разная: бывает сумасшедшая, а бывает похожа на дружбу. На дружеский союз. Мне нравится так думать, потому что мой муж очень хороший человек. Пусть я не жила в шелках…

Родила Дашеньку… Мы никогда не расставались с нашими детьми, вместе ездили летом в деревню к бабушке в Калужскую область. Там была речка. Луг и лес. Бабушка пекла пироги с вишнями, которые дети и сейчас вспоминают. Никогда мы не ездили к морю, это была наша мечта. Как известно, честным трудом больших денег не заработаешь: я — медсестра, муж — научный сотрудник в институте радиологической техники. Но девочки знали, что мы их любим.

Многие боготворят перестройку… Все на что-то надеялись. Мне любить Горбачева не за что. Помню разговоры у нас в ординаторской: «Закончится социализм, а что будет после него?» — «Закончится плохой социализм, и будет хороший социализм». Ждали… читали газеты… Скоро муж потерял работу, их институт закрыли. Безработных — море, все с высшим образованием. Появились киоски, затем супермаркеты, в которых было все, как в сказке, а купить не на что. Зайду — выйду. Покупала два яблока и один апельсин, когда дети болели. Как с этим смириться? Согласиться с тем, что так оно теперь и будет — как? Стою в очереди в кассу, передо мной мужчина с тележкой, там у него и ананасы, и бананы… Так бьет по самолюбию*.*От этого люди сегодня какие-то все усталые. Не дай бог родиться в СССР, а жить в России. *(Молчит.)* Ни одна моя мечта в жизни не исполнилась…

*Когда дочь вышла в другую комнату, говорит мне полушепотом:*

— Сколько лет? Три года уже прошло после теракта… нет, больше… Моя тайна… Представить себе не могу, что лягу с  мужем в постель, и мужская рука до меня дотронется. У нас с мужем никаких отношений все эти годы, я жена и не жена, он меня уговаривает: «Тебе станет легче». Подруга, которая все знает, она тоже меня не понимает: «Ты обалденная, ты сексуальная. Посмотри на себя в зеркало, какая ты красивая. Какие волосы…» У меня такие волосы от рождения, я про красоту свою забыла. Когда человек тонет, он весь пропитывается водой, так я вся пропитана болью. Как будто я отторгла свое тело, и осталась одна душа…

*Дочь:*

…лежали убитые, у них в карманах без конца звонили мобильники… Никто не решался подойти и ответить.

…сидела на полу окровавленная девушка, какой-то парень предлагал ей шоколадку…

…куртка моя не сгорела, но она вся была оплавленная. Врач осмотрела меня и сразу сказала: «Ложитесь на носилки». Я еще сопротивлялась: «Сама поднимусь и дойду до "скорой"», она даже прикрикнула на меня: «Ложитесь!» В машине я потеряла сознание, пришла в себя в реанимации…

…почему я молчу? Я дружила с одним парнем, мы даже… он мне колечко подарил… И я ему рассказала, что со мной было… Может, это абсолютно не связано, но мы расстались. У меня это отложилось, я поняла, что не надо никаких откровений. Тебя взорвали, ты выжил, ты стал еще более уязвимым и хрупким. На тебе клеймо пострадавшего, я не хочу, чтобы на мне было видно это клеймо…

…наша мама любит театры, иногда ей удается поймать дешевый билетик: «Ксюша, мы идем в театр». Я отказываюсь, они идут вдвоем с папой. На меня театр уже не действует…

*Мать:*

— Человек не знает, почему это именно с ним случилось, поэтому хочется быть как все. Спрятаться. Это все сразу не отключается…

Этот мальчик-смертник… и другие… Они спустились с гор и пришли к нам: «Как нас убивают, вы не видите. Попробуем это сделать у вас». *(Молчит.)*

Я думаю… Хочу вспомнить — когда я была счастливой? Надо вспомнить… Я была счастлива только один раз в жизни, когда дети были маленькие…

Звонок в дверь — Ксюшины друзья… Посадила их на кухне. У меня от мамы: первое — это накормить гостей. Одно время молодые перестали говорить о политике, а сейчас снова говорят. Стали спорить о Путине… «Путин — это клон Сталина…», «Это надолго…», «Это — газ, это — нефть…» Вопрос: кто Сталина сделал Сталиным? Проблема вины…

Судить надо только тех, кто расстреливал, пытал или:

и того, кто написал донос…

кто забрал у родственников ребенка «врага народа» и сдал его в детдом…

шофера, перевозившего арестованных…

уборщицу, замывавшую полы после пыток…

начальника железной дороги, направлявшего товарняки с политзаключенными на Север…

портных, кроивших полушубки, в которых ходили лагерные охранники. Врачей, чинивших им зубы, снимавших кардиограмму, чтобы они лучше несли свою службу…

тех, кто молчал, когда другие на собраниях кричали: «Собакам — собачья смерть!»

Со Сталина перешли на Чечню*…*Иопять все то же самое: кто убивает, взрывает — да, виноват, а тот, кто делает бомбы, снаряды на заводах, шьет военную форму, учит солдат стрелять… представляет к наградам… Разве они виноваты? *(Молчит.)*Мне хотелось закрыть собой Ксюшу, куда-нибудь увести ее от этих разговоров. Она сидела с большими от ужаса глазами. Смотрела на меня… *(Поворачивается к дочери.)*Ксюшенька, я не виновата, и наш папа не виноват, он сейчас преподает математику. Я — медсестра. К нам в больницу привозили раненых наших офицеров из Чечни. Мы их лечили, потом, конечно, они уезжали назад. На войну. Среди них мало кто хотел возвращаться, многие открыто признавались: «Не хотим воевать». Я — медсестра,  я всех спасаю…

Есть таблетки от зубной боли, от головной, а от моей нет. Психолог схему мне нарисовал: утром натощак полстакана зверобоя, двадцать капель настойки боярышника, тридцать — пиона… Весь день расписан. Пила я все это. И к какому-то китайцу ходила… Не помогло… *(Молчит.)* Отвлекают ежедневные дела, поэтому не сходишь с ума. Рутина лечит: постирать, погладить, зашить…

Во дворе нашего дома стоит старая липа… Я иду — это, наверное, через пару лет было — и чувствую: липа цветет. Запах… А до того все как-то не остро было… не так… Краски погашены, звуки… *(Молчит.)*

Подружилась в больнице с одной женщиной, она ехала не во втором вагоне, как Ксюша, а в третьем. Ходила уже на работу, и казалось, все пережила. И что-то случилось — хотела выброситься с балкона, прыгала из окна. Родители заковали дом в решетки, жили как в клетке. Травилась газом… Муж от нее ушел… Не знаю, где она сейчас? Кто-то один раз видел ее на станции «Автозаводская». Ходила по перрону и кричала: «Берем правой рукой три горсти земли и бросаем на гроб. Берем… бросаем». Кричала, пока санитары за ней не приехали…

Думала, что это Ксюша мне рассказала… Возле нее стоял мужчина и так близко, что она даже хотела сделать ему замечание. Не успела. Потом получилось так, что он закрыл ее, много Ксюшиных осколков попало в него. Неизвестно, остался ли он жив? Я о нем часто вспоминаю… ну просто перед глазами он у меня стоит… А Ксюша не помнит… Откуда я это взяла? Наверное, я придумала его себе сама. Но кто-то же мне ее спас…

Я знаю лекарство… Ксюше надо быть счастливой. Ее можно вылечить только счастьем.  Нужно что-то такое… Были мы на концерте Аллы Пугачевой, которую всей семьей любим. Я хотела к ней подойти или записочку послать: «Спойте для моей девочки. Скажите, что это только для нее одной». Чтобы она почувствовала себя королевой… поднять ее высоко-высоко… Она увидела ад и должна увидеть рай. Чтобы опять мир для нее пришел в равновесие. Мои иллюзии… мечты… *(Молчит.)*Я ничего не смогла своей любовью сделать. Кому мне написать письмо? Кого попросить? Вы заработали на чеченской нефти, на русских кредитах, дайте мне куда-нибудь ее увезти. Пусть она посидит под пальмой, на черепаху посмотрит, чтобы забыла ад. У нее в глазах все время ад. Света нет, света я в них не вижу.

Стала ходить в церковь… Верю ли я? Не знаю. Но хочется с кем-то поговорить. Один раз батюшка проповедь читал, что в большом страдании человек или приближается к Богу, или удаляется, и если он отдаляется от Бога, нельзя его корить, это от негодования, от боли. Все про меня.

Смотрю на людей со стороны, я не чувствую с ними родственной связи… Я смотрю так, как будто я уже не человек… Вы писательница, вы меня поймете: слово мало имеет общего с тем, что происходит внутри, раньше я редко общалась с тем, что у меня внутри. Сейчас как на рудниках живу… Переживаю, думаю… все время что-то в себе ворошу… «Мама, прячь душу!» Нет, дорогие девочки, я не хочу, чтобы мои чувства, мои слезы просто так исчезли. Без следа, без знака. Меня это больше всего беспокоит. Все, что я пережила — это не то, что хочется только детям оставить. Я хочу это передать и другому человеку, чтобы оно где-то лежало, и каждый мог взять.

*3 сентября — День памяти жертв терроризма. Москва в трауре. На улицах много инвалидов, молодые женщины в черных платках. Горят поминальные свечи: на Солянке, на площади перед Театральным центром на Дубровке, возле метро «Парк культуры», «Лубянка», «Автозаводская», «Рижская»…*

*Я тоже в этой толпе. Спрашиваю — слушаю. Как мы с этим живем?*

*Теракты в столице были в 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2011 годах.*

— Ехала на работу, вагон, как всегда, был переполнен. Взрыва не слышала, но почему-то все вдруг стало в оранжевом цвете, и тело онемело, хотела пошевелить рукой — не смогла. Подумала, что со мной случился инсульт, и тут же потеряла сознание… А когда пришла в себя, вижу — по мне ходят какие-то люди, ходят бесстрашно, как будто я мертвая. Испугалась, что раздавят, и подняла руки. Меня кто-то поднял. Кровь и мясо — такая была картина…

— Сыну четыре года. Ну как ему сказать, что папа погиб? Он ведь не понимает, что такое смерть! Боюсь, чтобы не подумал — папа нас бросил. Пока папа у нас в командировке…

— Часто вспоминаю… Возле больницы стояли целые очереди желающих сдать кровь, с сетками апельсинов. Умоляли замученных нянечек: «Возьмите у меня фрукты и передайте любому человеку. Скажите, что еще им надо?»

— Ко мне приезжали девчонки с работы, начальник машину им давал. А никого видеть не хотелось…

— Война нужна, может, люди появятся. Мой дед говорил, что людей он встречал только в войну. Сейчас доброты мало.

— Две незнакомые женщины обнимались и плакали возле эскалатора, лица в крови, до меня не доходило, что это кровь, я думала: краска от слез размазалась. Вечером все это еще раз увидела по телевизору, и вот тогда до меня дошло. Там, на месте, не понимала, смотрела на кровь и не верила.

— Сначала думаешь, что ты можешь спуститься в метро, заходишь в вагон смело, но проезжаешь одну-две остановки и выскакиваешь в холодном поту. Особенно страшно, когда поезд остановится на несколько минут в тоннеле. Каждая минута растягивается, сердце начинает болтаться на одной ниточке…

— В каждом кавказце мерещится террорист…

— Как вы думаете: русские солдаты в Чечне не совершали преступлений? У меня брат там служил… Такое рассказывал про славную русскую армию… Держали чеченских мужчин в ямах, как зверей, требовали у родственников выкуп. Пытали… мародерствовали… Теперь парень спивается.

— Госдепу продался? Провокатор! Кто превратил Чечню в гетто для русских? Русских выгоняли с работы, отбирали квартиры, машины. Не отдашь — зарежут. Русских девушек насиловали только за то, что они русские.

— Ненавижу чеченов! Если бы не мы, русские, они бы до сих пор сидели в горах, в пещерах. Журналистов, которые за чеченов — тоже ненавижу! Либерасты! *(Взгляд, полный ненависти, в мою сторону — я записываю разговор.)*

— Разве судили русских солдат за убийство немецких солдат во время Отечественной войны? А убивали по-всякому. Партизаны на кусочки пленных полицаев резали… Послушайте ветеранов…

— Во время первой чеченской войны, это при Ельцине, по телевизору все честно показывали. Мы видели, как плакали чеченские женщины. Как русские матери ходили по селам и искали пропавших без вести своих мальчиков. Их никто не трогал. Такой ненависти, как сейчас, еще ни у кого не было — ни у них, ни у нас.

— То пылала одна Чечня, теперь весь северный Кавказ. Везде строят мечети.

— Геополитика пришла к нам в дом. Россия распадается… Скоро от империи останется одно Московское княжество…

— Ненавижу!!!

— Кого?

— Всех!

— Мой сын был еще семь часов живой, его запихнули в целлофановый мешок и положили в автобус с трупами… Привезли нам казенный гроб, два венка. Гроб из каких-то опилок, как картонный, его подняли — он развалился. Венки бедные, жалкие. Все покупали сами. Государству на нас, смертных, наплевать, пусть и оно примет мой плевок — хочу уехать из этой ё-ной страны. Подали с мужем документы на иммиграцию в Канаду.

— Раньше Сталин убивал, а теперь бандиты. Свобода?

— У меня черные волосы, черные глаза… Я — русская, православная. Зашли с подругой в метро. Нас остановила милиция, меня отвели в сторону: «Снимите верхнюю одежду. Предъявите документы». На подругу — ноль внимания, она блондинка. Мама говорит: «Покрась волосы». А мне стыдно.

— Русский человек крепок на трех сваях — «авось», «небось» и «как-нибудь». Первое время все тряслись от страха, а через месяц я обнаружила в метро под скамейкой подозрительный сверток и еле заставила дежурную позвонить в милицию.

— В аэропорту «Домодедово» таксисты-суки после теракта взвинтили цены. Заоблачно. На всем бабло делают. Б...дь, вытаскивать из машин — и мордой о капот!

— Одни валялись в лужах крови, а другие их снимали на мобилы. Щелкали. Тут же вывесили фото в ЖЖ. Офисному планктону перчика не хватает.

— Сегодня — они, завтра — мы. И все молчат, все с этим согласились.

— Постараемся, сколько можно, помогать усопшим нашими молитвами. Просить милости Божией…

*Тут же на импровизированной сцене школьники дают концерт. Их привезли автобусами. Подхожу ближе.*

— Мне Бен Ладен интересен… Аль-Каида — глобальный проект…

— Я за индивидуальный террор. Точечный. Например, против полицейских, чиновников…

— Террор — это плохо или хорошо?

— Это теперь добро.

— Надоело, блин, стоять. Когда нас отпустят?

— Анекдотец прикольный… Террористы осматривают достопримечательности в Италии. Дошли до Пизанской башни. Смеются: «Дилетанты!»

— Террор — это бизнес…

жертвоприношение, как в древние времена…

мейнстрим…

разминка перед революцией…

что-то личное…

**О старухе с косой и красивой девушке**

*Александр Ласкович — солдат, предприниматель, эмигрант — с 21 до 30 лет*

**Смерть похожа на любовь**

— В детстве у меня во дворе было дерево… Старый клен… Я с ним разговаривал, это был мой друг. Умер дедушка, я долго плакал. Проревел весь день. Мне было пять лет, и я понял, что умру, и все умрут. Меня охватил ужас: все умрут раньше, чем я, и я останусь один. Дикое одиночество. Мама меня жалела, а папа подошел и сказал: «Вытри слезы. Ты — мужчина. А мужчины не плачут». А я не знал еще — кто я? Мне никогда не нравилось быть мальчиком, я не любил играть «в войну». Но меня никто не спрашивал… все выбрали без меня… Мама мечтала о девочке, папа, как всегда, хотел аборт.

Первый раз я хотел повеситься в семь лет… Из-за китайского тазика… Мама сварила варенье в китайском тазике и поставила на табуретку, а мы с братом ловили нашу кошку. Муська тенью пролетела над тазиком, а мы нет… Мама молодая, папа на военных учениях. На полу лужа варенья… Мама проклинает судьбу офицерской жены и то, что жить приходится у черта на куличках… на Сахалине… где зимой снега насыпает до десяти метров, а летом — лопухи одного роста с ней. Она хватает отцовский ремень и выгоняет нас на улицу. «Мама, на дворе дождь, а в сарае муравьи кусаются». — «Пошли! Пошли! Вон!!» Брат побежал к соседям, а я совершенно серьезно решил повеситься. Залез в сарай, нашел в корзине веревку. Придут утром, а я вишу: вот, суки, вам! Тут в дверь втискивается Муська… Мяу-мяу… Милая Муська! Ты пришла меня пожалеть. Я обнял ее, прижался, и так мы с ней просидели до утра.

Папа… Что такое был папа? Он читал газеты и курил. Замполит авиаполка. Мы перемещались из одного военного городка в другой, жили в общежитиях. Длинные кирпичные бараки, везде одинаковые. Все они пахли гуталином и дешевым одеколоном «Шипр». Так всегда пахло и от папы. Мне — восемь лет, брату — девять, папа возвращается со службы. Скрипит портупея, скрипят хромовые сапоги. В эту минуту нам с братом превратиться бы в невидимок, исчезнуть с его глаз! Папа берет с этажерки «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, в нашем доме — это «Отче наш». «Что было дальше?» — начинает он с брата. — «Ну самолет упал. А Алексей Мересьевпополз… Раненый. Съел ежа… завалился в канаву…» — «В какую еще канаву?» — «В воронку от пятитонной бомбы», — подсказываю я. «Что? Это было вчера. — Мы оба вздрагиваем от командирского голоса папы. — Сегодня, значит, не читали?» Картинка: бегаем вокруг стола, как три клоуна — один большой, два маленьких, мы со спущенными штанами, папа — с ремнем. *(Пауза.)*Все-таки у нас у всех киношное воспитание, да? Мир в картинках… Не из книг, а из фильмов мы выросли. И из музыки… Книги, которые приносил в дом папа, у меня до сих пор вызывают аллергию. У меня температура поднимается, когда я вижу у кого-нибудь на полке «Повесть о настоящем человеке» или «Молодую гвардию». О! Папа мечтал бросить нас под танк… Он хотел, чтобы мы скорее стали взрослыми и попросились добровольцами на войну. Мир без войны папа не представлял. Нужны герои! Героями становятся только на войне, и если бы там кому-то из нас отсекло ноги, как Алексею Мересьеву, он был бы счастлив. Его жизнь не зря… Все отлично! Жизнь удалась! И он… я думаю, что он сам бы привел приговор в исполнение, своей рукой, если бы я нарушил присягу, если бы дрогнул в  бою. Тарас Бульба! «Я тебя породил, я тебя и убью». Папа принадлежал идее, он не человек. Родину положено любить безоглядно. Безоговорочно! Я это слышал все детство. Жизнь дана только для того, чтобы Родину защищать… Но меня никак не удавалось запрограммировать на войну, на щенячью готовность заткнуть собой дырку в плотине или лечь пузом на мину. Я не любил смерть… Я давил божьих коровок, на Сахалине летом божьих коровок — как песка. Давил их, как все. Пока однажды не испугался: чего это я столько маленьких красных трупиков наделал? Муська родила недоношенных котят… Я их поил, выхаживал. Появилась мама: «Они что — мертвые?» И они умерли после ее слов. Никаких слез! «Мужчины не плачут». Папа дарил нам военные фуражки, по выходным ставил пластинки с военными песнями. Мы с братом сидели и слушали, а по щеке у папы сползала «скупая мужская слеза». Когда он был пьяный, он всегда рассказывал нам одну и ту же историю: как «героя» окружили враги, и он отстреливался до последнего патрона, а последний патрон выпустил в свое сердце… В этом месте отец всегда по-киношному падал и всегда задевал ногой табуретку, и она тоже падала. Тут было смешно. Отец трезвел и обижался: «Ничего нет смешного, когда герой умирает».

Я не хотел умирать… В детстве очень страшно думать о смерти…*«*Мужчина должен быть готов», «священный долг перед Родиной»… «Что? Ты не будешь знать, как разобрать и собрать автомат Калашникова?» — нет, для папы это было невозможно. Позор! О, как я хотел молочными зубами вгрызться в папины хромовые сапоги, биться и кусаться. За что он меня — по голой заднице перед соседским Витькой?! И еще «девчонкой» обзывает… А я не рожден для танца смерти. У меня классический ахилл… я хотел танцевать в балете… Папа служил великой идее. Как будто трепанация черепа у всех была, гордились тем, что жили без штанов, но с винтовкой…  *(Пауза.)* Мы выросли… мы давно выросли… Бедный папа! Жизнь за это время сменила жанр… Там, где играли оптимистическую трагедию, сейчас разыграют комедию и боевик. Ползет-ползет, шишки грызет… Угадайте, кто это? — Алексей Мересьев. Любимый папин герой… «Дети в подвале играли в гестапо, зверски замучен сантехник Потапов…» Это все, что осталось от папиной идеи… А сам папа? Это уже старый человек, совсем не готовый к старости. Ему бы радоваться каждой минуте, на небо смотреть, на деревья. Пусть бы в шахматы играл или марки собирал… спичечные коробки… Сидит у телевизора: заседание парламента — левые, правые, митинги, демонстрации с красными флагами. Папа — там! Он — за коммунистов. Соберемся за ужином… «У нас была великая эпоха!» — наносит он мне первый удар и ждет ответа. Папе нужна борьба, иначе жизнь утрачивает смысл. Только — на баррикады и со знаменем! Вот мы смотрим с ним телевизор: японский робот достает из песка ржавые мины… одну… вторую… Торжество науки и техники! Человеческого разума! Правда, папе за державу обидно, что это не наша техника. Но тут… Неожиданно к концу репортажа у нас на глазах робот делает ошибку и подрывается. Как говорится, увидел бегущего сапера — беги за ним. У робота такой программы нет. Папа в недоумении: «Гробить импортную технику? У нас что, личного состава не хватает?» У него свои отношения со смертью. Папа жил для того, чтобы выполнить любое задание партии и правительства. Жизнь стоила меньше железки.

На Сахалине… Мы жили возле кладбища. Почти каждый день я слышал похоронную музыку: желтый гроб — умер кто-то в поселке, обитый красным кумачом — летчик погиб. Красных гробов было больше. После каждого красного гроба папа приносил в дом магнитофонную кассету… Приходили летчики… На столе дымились пожеванные папиросные «бычки», блестели запотевшие стаканы с водкой. Крутилась кассета: «Я — борт такой-то… Движок стал…» — «Идите на втором». — «И этот отказал». — «Попытайтесь запустить левый двигатель». — «Не запускается…» — «Правый…» — «Правый тоже…» — «Катапультируйтесь!» — «Фонарь кабины не сбрасывается… Твою мать! Э-э-э… ы-ы-ы…» Я долго представлял смерть как падение с немыслимой высоты: э-э-э… ы-ы-ы… Кто-то из молодых летчиков однажды спросил у меня: «Что ты, малыш, знаешь о смерти?» Я удивился. Мне казалось, что я это знал всегда. Хоронили мальчика из нашего класса… разжег костер и набросал туда патронов… Так рвануло! Вот он… лежит в гробу и как будто притворяется, все смотрят на него, а он недоступен никому… Я не мог отвести глаз… как будто я это знал всегда, родился уже с этим знанием. Может, я уже когда-то умирал? Или мама, когда я еще жил в ней, сидела у окна и смотрела, как везли на кладбище: красный гроб, желтый гроб… Я был загипнотизирован смертью, в течение дня я думал о ней десятки раз. Много раз думал. Смерть пахла папиросными «бычками», недоеденными шпротами и водкой. Это не обязательно беззубая старуха с косой, а может, это красивая девушка? И я ее увижу.

Восемнадцать лет… Всего хочется: женщин, вина, путешествовать… Загадок, тайн. Я придумывал себе разную жизнь, представлял. И в этот момент тебя подлавливают… Ё-моё! Мне до сих пор хочется раствориться в воздухе, исчезнуть, чтобы нигде меня не нашли. Не оставить никаких следов. Уйти куда-нибудь лесником, беспаспортным бомжем. Постоянно наваливается один и тот же сон: меня опять забирают в армию — перепутали документы, и снова надо идти служить. Кричу, отбиваюсь: «Я уже служил, скоты! Отпустите меня!» Схожу с ума! Жуткий сон… *(Пауза.)*Я не хотел быть мальчиком… Не хотел быть солдатом, война мне была неинтересна. Папа сказал: «Ты должен, наконец, стать мужчиной. А то девочки подумают, что ты импотент. Армия — школа жизни». Надо идти учиться убивать… У меня, в моем воображении это выглядело так: барабанный бой, боевые ряды, хорошо сделанные орудия убийства, свист горячего свинца и… разбитые головы, вышибленные глаза, оторванные конечности… вой и стоны раненых… И крики победителей… тех, кто умеет убивать лучше… Убить! Убить! Стрелой, пулей, снарядом или ядерной бомбой, но все равно убить… убить другого человека… Я не хотел. И я знал, что в армии из меня будут делать мужчину другие мужчины. Или меня убьют, или я кого-то убью. Брат ушел с розовой ватой в голове, романтиком, а  вернулся после службы испуганным человеком. Каждое утро его били ногой в лицо. Он лежал на нижних нарах, старослужащий — наверху. Целый год тебе пяткой в морду! Попробуй остаться тем, кем ты был. А если раздеть человека догола — сколько можно всего придумать? Много чего… Например, сосать собственный член, а  все будут смеяться. Кто не будет смеяться, сам будет сосать… А зубной щеткой или лезвием для бритья драить солдатский туалет? «Должно блестеть, как у кота яйца». Ё-моё! Есть тип людей, которые не могут быть мясом, а есть другой тип, готовый быть только мясом. Человеческие лепешки. Я понял, что должен собрать всю свою страсть, чтобы выжить. Записался в спортивную секцию — хатха-йога, каратэ. Учился бить — в лицо, между ног. Как позвоночник переломить… Зажигал спичку, клал ее на ладонь и дожидался, пока она догорит. Конечно, я не выдерживал… Плакал. Я помню… помню… *(Пауза.)* Гуляет по лесу дракон. Встретил медведя.: «Медведь, — говорит дракон, — у меня в восемь часов ужин. Приходи — я тебя съем». Идет дальше. Бежит лиса. «Лиса, — говорит дракон, — у меня в семь утра завтрак. Приходи — я тебя съем». Идет дальше. Скачет заяц. «Стой, заяц, — говорит дракон, — у меня в два часа обед. Приходи — я тебя съем». — «У меня вопрос», — поднял заяц лапу. — «Давай». — «Можно не приходить?» — «Можно. Я тебя вычеркиваю из списка». Но мало кто способен задать такой
вопрос… Бляааа!

Проводы… Два дня дома жарили, варили, тушили, лепили, пекли. Купили два ящика водки. Собрались все родственники. «Не посрами, сынок!» — поднял первую рюмку отец. И пошло… Ё-моё! Знакомый текст: «пройти испытания»… «с честью выдержать»… «проявить мужество»… Утром возле военкомата — гармонь, песни и водка в пластмассовых стаканчиках. А я не пью… «Больной, что ли?» Перед отправкой на станцию — осмотр личных вещей. Заставили все выложить из сумок, ножи-вилки и еду забрали. Дома дали немного денег… Мы их запихивали поглубже в носки и трусы. Ё-моё! Будущие защитники Родины… Посадили в автобусы. Девчонки машут, мамы плачут. Поехали! Полный вагон мужиков. Ни одного лица не запомнил. Всех подстригли «под ноль», переодели в какое-то рванье. На зэков были похожи. Голоса: «Сорок таблеток… Попытка суицида… Белый билет. Надо бытьдураком, чтобы остаться умным…» — «Бей меня! Бей! Ну и пусть я говно, мне наплевать. Зато я — дома, трахаюсь с девчонками, а ты — с винтовкой пошел играть в войну». — «Эх, парни, сменим кроссовки на сапоги и будем Родину защищать» — «У кого "бабки" в кармане, тот в армию не ходит». Ехали трое суток. Всю дорогу пили. А я не пью… «Бедолага! Что ты будешь в армии делать?» Из постельного белья — носки и одежда, что на нас. Сняли ночью обувь… Ё-моё! Запах! Сто мужиков сняли ботинки… Носки не меняли кто двое, а кто трое суток… Хотелось повеситься или расстреляться. В туалет ходили с офицерами — три раза в день. Хочешь больше — терпи. Туалет закрыт. А мало чего… только из дому… Один все равно ночью удавился…

Человека можно запрограммировать… Он сам этого хочет. Ать-два! Ать-два! В ногу! В армии положено много ходить и много бегать. Бегать быстро и далеко, не можешь бежать — ползи! Сотня молодых мужчин вместе? Зверье! Стая молодых волков! В тюрьме и в армии живут по одним законам. Беспредел. Заповедь первая: никогда не помогай слабому. Слабого — бей! Слабый выбраковывается сходу… Второе: друзей нет, каждый сам за себя. Ночью кто хрюкает, кто квакает, кто маму зовет, кто пердит… Но правило для всех одно: «Прогибайся или прогибай». Все просто — дважды два. И зачем я столько книжек читал? Верил Чехову… Это он писал, что надо выдавливать из себя по капле раба и в человеке все должно быть прекрасно: и душонка, и одежонка, и мыслишки. А бывает наоборот! Наоборот! Иногда человеку хочется быть рабом, ему это нравится*.*Из человека по капле выдавливают человека. Сержант в первый день тебе объясняет, что ты — быдло, ты — тварь. Команда: «Лечь! Встать!». Все встали, один лежит. «Лечь! Встать!» Лежит. Сержант стал желтый, затем фиолетовый: «Ты что?» — «Суета сует…» — «Ты что?» — «Господь учил: не убивай, даже не гневайся…» Сержант — к командиру роты, тот к гэбэшнику. Подняли дело: баптист. Как он в армию попал?! Его оградили от всех, потом куда-то увезли. Он фантастически опасен! Не хочет играть в войну…

Курс молодого бойца: марширование на красоту, заучивание Устава наизусть, разборка и сборка автомата Калашникова с закрытыми глазами… под водой… Бога нет! Сержант — бог, царь и воинский начальник. Сержант Валериан: «Дрессировке поддаются даже рыбы. Поняли?», «Песню в строю надо орать так, чтобы мышцы на жопе дрожали», «Чем глубже вы в землю закопаетесь, тем меньше вас убьют». Фольклор! Кошмар номер один — кирзовые сапоги… Русскую армию только недавно переобули — выдали ботинки. Я еще служил в сапогах. Для того, чтобы кирза блестела, ее надо было смазывать сапожным кремом и растирать шерстяной тряпочкой внатяг. Кросс — десять километров в кирзачах. Жара тридцать градусов… Ад! Кошмар номер два — портянки… Они были двух видов — зимние и летние. Русская армия отказалась от портянок последней… в двадцать первом веке… Я не один кровавый мозоль из-за них натер. Наматывают портянку так: от носка ноги и непременно «наружу», а не внутрь. Построились. «Рядовой… почему ковыляете? Узких сапог не бывает, есть неправильные ноги». Говорят все матом, не ругаются, а говорят, от полковника до солдата. Другой речи не слышал.

Азбука выживания: солдат — это животное, которое может все… Армия — это тюрьма, в которой срок отбывают по конституции… Мама, мне страшно! Молодой солдат — «салага», «дух», «червяк». «Эй, душара! Принеси чаю». «Эй… почисти сапоги…» Эй-эй! «А ты, б…дь, гордый». Начинаются репрессии… Ночью четверо держат, двое бьют… Отработана техника, по которой тебя бьют без синяков. Без следов. Например, мокрым полотенцем… ложками… Один раз меня отхерачили так, что я не мог два дня разговаривать. В госпитале от всех болезней одна зеленка. Надоест бить — «побреют» сухим полотенцем или зажигалкой, это надоест — накормят фекалиями, помоями. «Ручками! Ручками бери!» Скоты! Могли заставить бегать по казарме голым… танцевать… У молодого солдата никаких прав… Папа: «Совет-ская армия — лучшая в мире…»

И… наступает такой момент… Появляется мыслишка, такая подлая мыслишка: я им трусы, портянки постираю, потом сам выбьюсь в скоты, и уже мне будут трусы стирать. Это я дома думал о себе, что я такой белый и пушистый. Меня не сломаешь и мое «я» не убьешь. Это «до»… *(Пауза.)* Есть хотелось всегда, особенно сладкого. В армии все воруют, вместо положенных семидесяти граммов солдату попадает тридцать. Сидели один раз неделю без каши — вагон перловки кто-то на станции спер. Снилась булочная… кексы с изюмом… Стал мастером по чистке картофеля. Виртуозом! За час могу начистить три ведра картошки. Солдатам привозят нестандарт, как на ферму. Сидишь в очистках… Бляааа! В наряде на кухне подходит сержант к солдату: «Начистить три ведра картошки». Солдат: «В космос уже давно летают, а машинку для чистки картофеля не изобрели». Сержант: «В армии, рядовой… все есть. И машинка для чистки картофеля тоже — это ты. Самая последняя модель». Солдатская столовая — поле чудес… Два года: каша, квашеная капуста и макароны, суп из мяса, которое хранили на военных складах на случай войны. Сколько оно там лежало? Пять-десять лет… Все заправлялось комбижиром, большие пятилитровые, такие оранжевые банки. На Новый год в макароны вливали сгущенку — лакомство! Сержант Валериан: «Печенье будете дома есть и угощать своих б...ей…» Ни вилки, ни чайной ложки по Уставу солдату не положено. Ложка — единственный прибор. Кому-то прислали из дома пару чайных ложечек. Боже мой! С каким удовольствием мы сидели и размешивали чай в стаканах. Гражданский кайф! Держат за свиней,
и вдруг — чайная ложечка. Боже мой! Где-то же у меня есть дом… Заходит дежурный капитан… Увидел: «Что? Что такое! Кто позволил? Немедленно очистить помещение от мусорного хлама!» Какие ложечки?! Солдат — не человек. А предмет… приспособление… орудие для убийства… *(Пауза.)*Дембель. Нас… человек двадцать… Привезли на машине на железнодорожную станцию и выгрузили: «Ну, что — пока! Пока, ребята! Счастливо на гражданке». Мы стоим. Полчаса прошло — стоим. Час прошел… Стоим! Оглядываемся. Ждем приказа. Кто-то должен нам дать команду: «Бегом! В кассу за билетами!» Приказа нет. Не помню, сколько времени прошло, пока мы сообразили, что команды не будет. Самим надо решать. Ё-моё! За два года мозги отшибли…

Покончить с собой я хотел раз пять… А как? Повеситься? Будешь в говне своем висеть, язык вывалится… назад в глотку не затолкают… Как у того парня в поезде, когда нас в часть везли. Обматюгают… свои же… Спрыгнуть с вышки — фарш получится! Взять автомат и на посту — в голову… Расколется, как арбуз. Маму все-таки жалко. Командир просил: «Только не стреляйтесь. Людей списать легче, чем патроны». Жизнь солдата дешевле табельного оружия. Письмо от девушки… Это очень много значит в армии. Руки трясутся. Письма хранить нельзя. Проверка тумбочек: «Бабы ваши, будут наши. А  вам еще служить, как медным чайникам. Неси свою макулатуру в унитаз». Положен набор: бритва, авторучка и блокнот. Сидишь на «очке» и читаешь последний раз: «Люблю… Целую…» Бляааа! Защитники Родины! Письмо от отца: «Идет война в Чечне… Ты меня понимаешь!» Папа героя домой ждет… А у нас прапорщик один был в Афгане, поехал добровольцем. Война прошлась по его голове сильно. Ничего не рассказывал, травил только «афганские» анекдоты. Ё-моё! Все ржали… Солдат тащит на себе тяжело раненого друга, тот истекает кровью. Умирает. Просит: «Пристрели! Больше не могу!» — «У меня патронов нет. Кончились». — «А ты купи». — «Где я их тебе куплю? Вокруг горы, ни души». — «А ты у меня купи». *(Смеется.)*«Товарищ офицер, почему вы попросились в Афган?» — «Хочу стать майором». — «А генералом?» — «Нет, генералом я не стану — у генерала свой сын есть». *(Пауза.)* В Чечню никто не просился. Ни одного добровольца непомню… Отец приходил ко мне во сне: «Ты присягу принял? Стоял под Красным знаменем: "Клянусь свято соблюдать… строго выполнять… мужественно защищать… А если я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара… всеобщая ненависть и презрение…"» Во сне я убегал куда-то, он целился в меня… целился…

Стоишь на посту. В руках — оружие. И одна мысль: секунда-две — и ты свободен. Не виден никому. Уже, суки, не достанете! Никто… Никто! Если искать причину, надо начинать оттуда, когда мама хотела девочку, а папа, как всегда, аборт. Сержант сказал, что ты — мешок с говном… дырка в пространстве…*(Пауза.)* Офицеры были разные: один — спившийся интеллигент, говорил по-английски, а в основном — серые пьяницы. Напивались доглюков… Могли ночью поднять всю казарму и заставить бегать по плацу, пока солдаты не падали. Офицеров называли шакалами. Плохой шакал… хороший шакал… *(Пауза.)* Кто вам расскажет, как десять человек насилуют одного…*(Злой смех.)* Это не игрушки и не литература…*(Пауза.)* На самосвале, как скот, возили на командирскую дачу. Тягали бетонные плиты… *(Злой смех.)*Барабанщик! Играй гимн Советского Союза!

Я никогда не хотел быть героем. Я ненавижу героев! Герой должен или много убивать… или красиво умереть… Убить врага ты должен любой ценой: сначала используй боекомплект, когда патроны и гранаты закончатся — дерись ножом, прикладом, саперной лопаткой. Рви хоть зубами. Сержант Валериан: «Учись работать с ножом. Кисть руки — вещь очень хорошая, ее лучше не резать, а колоть… обратным хватом… Так… так… Контролируй руку, уход за спину… не увлекайся сложными движениями… Отлично! Отлично! Теперь выверни нож у противника… Так… так… Ты его убил. Молодец! Убил! Кричи: "Умри, сука!" Чего ты молчишь?» *(Останавливается.)* Все время тебе долбят: оружие — это красиво… стрелять — настоящее мужское дело…Учились убивать на животных, нам специально завозили бродячих собак, котов, чтобы потом рука не дрогнула при виде человеческой крови. Мясники! Я не выдерживал… ночью плакал… *(Пауза.) В*детстве мы играли в самураев. Самурай должен был по-японски умереть, не имел права упасть лицом вниз, закричать. Я всегда кричал… Меня не любили брать в эту игру… *(Пауза.)* Сержант Валериан: «Запомните… автомат работает так: раз, два, три — и тебя нет…» А пошли вы все! Раз, два…

Смерть похожа на любовь. В последние мгновения — темнота… страшные и не-красивые судороги… Из смерти нельзя вернуться, но из любви мы возвращаемся. И можем вспомнить, как было… Вы тонули когда-нибудь? Я тонул… Чем больше сопротивляешься, тем меньше сил. Смирись — и дойди до дна. И тогда… Хочешь жить — пробивай небо воды, возвращайся. Но сначала дойди до дна.

А там? Там никакого света в конце тоннеля… И ангелов я не видел. Сидел отец у красного гроба. Гроб пустой.

**А о любви мы знаем слишком мало**

*Через несколько лет я снова оказалась в городе N (город не называю по просьбе моего героя). Мы с ним созвонились — и встретились. Он был влюблен, он был счастлив — и говорил о любви. Я даже не сразу догадалась включить диктофон, чтобы не упустить вот этот момент перехода жизни, просто жизни — в литературу, который всегда сторожу, выслушиваю в любых разговорах — частных и общих, но иногда теряю бдительность, а «кусочек литературы» может блеснуть везде, иногда в самом неожиданном месте. Как и в этот раз. Хотели посидеть и выпить кофе, а жизнь предложила развитие сюжета. Вот что я успела записать…*

— Я встретился с любовью… я ее понимаю… До этого я думал, что любовь — это два дурака с повышенной температурой. Что это просто бред… О любви мы знаем слишком мало. И если эту нитку вытянуть… Война и любовь — это как бы из одного костра, то есть, это одна ткань, та же материя. Человек с автоматом или тот, кто на Эльбрус взобрался, кто воевал до Победы, строил социалистический рай — все та же история, тот самый магнит и то же самое электричество. Вам понятно? Чего-то человек не может, чего-то нельзя купить или выиграть в лотерею… А человек знает, что оно есть, и он этого хочет… И не разберется, как искать. Где?

Это почти рождение… Начинается с удара… *(Пауза.)* А может, и не надо эти тайны разгадывать? Вы не боитесь?

Первый день…

Прихожу к своему знакомому, у него компания, у вешалки в прихожей снимаю пальто, кто-то идет с кухни, и надо пропустить, оборачиваюсь — она! У меня
произошло короткое замыкание, как будто во всем доме выключили свет. И вот — все. За словом обычно в карман не лезу, а здесь просто сел и сидел, даже ее не видел, то есть не то чтобы я на нее не смотрел, я долго-долго смотрел сквозь нее, как в фильмах Тарковского: льют из кувшина воду, и она льется мимо чашки, затем ме-е-е-дленно поворачивается вместе с этой чашкой. Рассказываю дольше, чем это
произошло. Молния! В этот день что-то такое узнал, что все остальное стало неважным, даже особенно не разбирался… А собственно — зачем? Случилось — и все. И оно так прочно. Ее пошел провожать жених, у них, как я понял, скоро намечалась свадьба, но мне было все равно, я собрался домой и ехал уже не один, ехал с ней, она уже поселилась во мне. Любовь начинается… Всё вдруг другого цвета, голосов больше, звуков больше… Нет никаких шансов это понять… *(Пауза.)*Передаю приблизительно…

Утром проснулся с мыслью, что мне надо ее найти, а я не знаю ни имени, ни адреса, ни ее телефона, но уже это случилось, что-то главное в жизни со мной произошло. Человек прибыл. Как будто я что-то забыл… и вот вспомнил… Вам понятно, о чем я? Нет? Никакой формулы мы не выведем… все будет синтетика… Мы привыкли к мысли: будущее от нас скрыто, а то, что уже было, можно объяснить. Было или не было… для меня — вопрос… А может, ничего и не было? Просто кинолента крутится, вот она прокрутилась… Знаю такие моменты в своей жизни, которых как бы не было. А они были. Например, несколько раз я был влюблен… думал, что влюблен… Осталось много фотографий. Но все высыпалось из памяти, смылось. Есть такие вещи, которые не высыпаются, их надо взять с собой. А остальное… Все ли человек вспомнит, что с ним было?

Второй день…

Я купил розу. Денег практически не было, но поехал на рынок и купил самую большую розу, какую там нашел. И вот тоже… Как объяснить? Подошла ко мне цыганка: «Дай, милок, погадаю. По глазам вижу…» Убежал. Зачем? Я и сам уже знаю, что тайна стоит в дверях. Тайна, таинство, покрывание… Первый раз ошибся квартирой — открыл мужик в свисающей майке и под градусом, увидел меня с розой, замер: «Бляаа!» Поднимаюсь на следующий этаж… Через цепочку выглядывает странная старушка в вязаной шляпке: «Лена, к тебе». Потом она играла нам на фортепиано, рассказывала о театре. Старая актриса. В доме жил большой черный кот, домашний тиран, который почему-то меня сразу невзлюбил, а я старался ему понравиться… Большой черный кот… Во время происхождения тайны ты как бы отсутствуешь. Вам понятно, о чем я? Не надо быть космонавтом, олигархом или героем, ты можешь быть счастливым, все испытать в обыкновенной двухкомнатной квартире — пятьдесят восемь квадратных метров, совмещенный санузел, среди старых советских вещей. Двенадцать часов ночи, два часа… Мне надо уходить, а я не понимаю, почему я должен уходить из этого дома. Больше всего это похоже на воспоминание… ищу слова… Как будто все вспомнилось, долго ничего не помнил, а теперь все вернулось. Я соединился. Что-то подобное… я так думаю… испытывает человек, который много дней провел в келье. Мир для него обнаружился в бесконечных деталях. Очертаниях. То есть тайна, она может быть доступна, как предметная вещь, как ваза, например, но чтобы что-то понять, должно быть больно. А как понять, если не болит? Надо, чтобы больно, больно…

…первый раз что-то о женщине мне объяснили в семь лет мои друзья… Им тоже было по семь лет. Запомнил их радость, что они знают, а я нет, вот мы сейчас тебе все растолкуем. И начали рисовать палочками на песке…

…что женщина что-то другое, я почувствовал в семнадцать лет, не через книжки, а через кожу, ощутил близко от себя что-то бесконечно другое, огромную какую-то разность и пережил потрясение от того, что это другое. Что-то там, внутри, в жен-ском сосуде спрятано, мне недоступное…

…представьте солдатскую казарму… Воскресенье. Нет никаких занятий. Две-сти мужиков, затаив дыхание, сидят и смотрят аэробику: на экране девушки в туго обтягивающих костюмах… Мужики, как истуканы с острова Майя, сидят. Если сломался телевизор, это катастрофа, того, кто был виноват, могли убить. Вы понимаете? Это все о любви…

Третий день…

Встал утром, и не надо никуда бежать, вспоминаешь, что она есть, она нашлась. Тебя отпускает тоска… Ты уже не один… Ты обнаруживаешь вдруг свое тело… руки, губы… обнаруживаешь за окном небо и деревья, почему-то все близко-близко, до тесноты приблизилось к тебе. Так бывает только во сне… *(Пауза.)*По объявлению в вечерней газете мы нашли немыслимую квартиру в немыслимом районе. На краю города в новых застройках. Во дворе по выходным дням мужики с утра до вечера кроют матом, стучат в домино и играют в карты на бутылку водки. Через год у нас родилась дочь…*(Пауза.)* Теперь о смерти расскажу… Вчера весь город хоронил моего одноклассника — лейтенанта милиции… Гроб привезли из Чечни и даже не открыли, матери не показали. Что там привезли? Салют и все такое. Слава героям! Я был там. И отец со мной… У моего отца блестели глаза… Вам понятно, о чем я? Человек к счастью не готов, он готов к войне, к  хладу и граду. Счастливых людей, кроме моей трехмесячной дочери, я никого… никого не встречал…Русский человек к счастью не готовится. *(Пауза.)*Все нормальные люди увозят детей за границу. Уехало много моих друзей… звонят мне из Израиля, Канады… Раньше я не думал о том, чтобы уехать. Уехать… уехать… У меня эта мысль появилась, когда родилась дочь. Хочу защитить тех, кого люблю. Отец мне этого не простит. Я знаю.

**Русский разговор в Чикаго**

*Еще раз мы встретились в Чикаго. Семья уже немного обжилась на новом месте. Собралась русская компания. Русский стол и русский разговор, в котором к вечным русским вопросам: «что делать» и «кто виноват» — добавился еще один — уезжать или не уезжать?*

«…я уехал, потому что испугался… У нас любая революция кончается тем, что начинают грабить друг друга под шумок и бить жидам морды. В Москве шла настоящая война, каждый день кого-то взрывали, убивали. Вечером на улицу без собаки бойцовской породы нельзя было выйти. Я специально завел бультерьера...»

«…открыл Горбачев клетку — мы и ломанули. Что я там оставила? Сраную двухкомнатную хрущобу. Лучше быть горничной с хорошим окладом, чем врачом с окладом бомжа. Все мы выросли в СССР: собирали в школе металлолом и любили песню "День Победы". Нас воспитывали на великих сказках о справедливости, на советских мультиках, где все четко прописано: тут — добро, а там — зло. Некий правильный мир. Мой дед погиб под Сталинградом за советскую Родину, за коммунизм. А я хотела жить в нормальной стране. Чтобы в доме занавесочки были, чтобы подушечки были, чтобы муж пришел и халат надел. У меня как-то с русской душой слабо, у меня ее мало. Я свалила в Штаты. Зимой ем клубнику. Колбасы тут навалом, и никаким символом она не является…»

«…в девяностые все было сказочно и весело… Посмотришь в окно — на каждом углу демонстрация. Но скоро стало не сказочно и не весело. Хотели свободный рынок — получите! Мы с мужем — инженеры, а у нас полстраны было инженеров. С нами не церемонились: "Идите на помойку". А это мы сделали перестройку, похоронили коммунизм. И никому стали не нужны. Лучше не вспоминать… Дочь маленькая просит кушать, а в доме ничего нет. По всему городу висели объявления: куплю… куплю… "Куплю килограмм еды" — не мяса, не сыра, а любой еды. Килограмму картошки были рады, на базаре жмых продавали, как в войну. У соседки мужа в подъезде застрелили. Палаточник. Полдня лежал, прикрытый газеткой. Лужа крови. Включишь телевизор: там банкира убили, там бизнесмена… Кончилось тем, что какая-то шайка воров завладела всем. Скоро народ двинется на Рублевку. С топорами…»

«…не Рублевку пойдут громить, а картонные коробки на рынках, в которых живут гастарбайтеры. Таджиков, молдаван начнут убивать…»

«.. а мне все по х…! Пусть все сдохнут. Я буду жить для себя…»

«…решила уехать, когда Горбачев вернулся из Фороса и сказал, что от социализма мы не отказываемся. Тогда без меня! Я не хочу жить при социализме! Это была скучная жизнь. С детства мы знали, что будем октябрятами, пионерами, комсомольцами. Первая зарплата шестьдесят рэ, а потом восемьдесят, к концу жизни — сто двадцать…*(Смеется.) "*Классная" в школе пугала: будете слушать радио "Свобода", никогда не станете комсомольцами. А если об этом узнают наши враги? Самое смешное, что она тоже сейчас в Израиле живет…»

«…когда-то и я горела идеей, а не была простым обывателем. Накипают слезы… ГКЧП! Танки в центре Москвы выглядели дико. Мои родители приехали с дачи, чтобы запастись продуктами на случай гражданской войны. Эта банда! Эта хунта! Они думали, что введут танки и больше ничего делать не придется. Что люди хотят только одного — чтобы появилась еда, и на все согласны. Народ вынесло на улицу… страна проснулась… Всего один момент, секунду это было… Завязь какая-то… *(Смеется.)*Моя мама — человек легкомысленный, ни над чем не задумывающийся. Совершенно далекий от политики, устроенный по принципу: жизнь проходит, надо все, что можно, брать сейчас. Хорошенькая молодая женщина. Даже она пошла к Белому дому с зонтиком наперевес…»

«…ха-ха-ха… Вместо свободы нам раздали ваучеры. Так поделили великую страну: нефть, газ… Не знаю, как выразиться… Кому бублик, а кому — дырка от бублика. Ваучеры надо было вкладывать в акции предприятий, но мало кто это умел. При социализме делать деньги не учили. Отец приносил в дом какие-то рекламки: "Московской недвижимости", "Нефть-Алмаз-Инвеста", "Норильского никеля"… Спорили с мамой на кухне, и кончилось это тем, что они продали все какому-то типу в метро. Купили мне модную кожаную куртку. Весь навар. В этой куртке я в Америку приехала…»

«…а у нас они до сих пор лежат. Продам лет через тридцать в какой-нибудь музей…»

«…вы себе не представляете, как я ненавижу эту страну… Ненавижу парад Победы! Меня тошнит от серых панельных домов и балконов, забитых закрученными банками с помидорами и огурцами… и старой мебелью…»

«…началась чеченская война… Сыну через год идти в армию. Голодные шахтеры пришли в Москву и стучали касками на Красной площади. Возле Кремля. Непонятно было, куда все катится. Люди там замечательные, драгоценные, а жить нельзя. Уехали ради детей, легли здесь взлетной полосой для них. А они выросли и страшно далеки от нас…»

«…э-э-э… как это по-русски? Забываю… Эмиграция — это нормально, русский человек уже может жить там, где он хочет, где ему интересно. Одни из Иркутска едут в Москву, другие из Москвы едут в Лондон. Весь мир превратился в караван-сарай…»

«…настоящий патриот может желать России только оккупации. Чтобы ее кто-то оккупировал…»

«…поработала я за границей и вернулась в Москву… Во мне боролись два чувства: хотелось жить в знакомом мире, в котором я могу, как в своей квартире, с закрытыми глазами найти любую книгу на полке, и в то же время было желание вылететь в бесконечный мир. Уезжаю или остаюсь? — никак не могла решить. Это был девяносто пятый год… Иду, как сейчас помню, по улице Горького, и впереди меня громко разговаривают две женщины… и я их не понимаю… А они по-русски говорят. Я обалдела! Только так… столбняк… Какие-то новые слова и главное — интонации. Много южного диалекта. И другое выражение лиц… Всего несколько лет я отсутствовала, а уже стала чужая. Очень быстро тогда шло время, оно мчалось. Москва была грязная, какой там столичный блеск! Везде кучи мусора. Мусор свободы: банки из-под пива, яркие обертки, шкурки от апельсинов… Все жевали бананы. Сейчас такого уже нет. Наелись. Я поняла, что города, который я раньше так любила, и где мне было хорошо и комфортно, — этого города больше нет. Настоящие москвичи в ужасе сидят по домам или уехали. Старая Москва схлынула. Заехало новое население. Мне захотелось прямо сейчас упаковать чемодан и бежать. Даже в дни августовского путча я не испытывала такого страха. Тогда я была в упоении! Вдвоем с подругой на моих стареньких "Жигулях" мы возили к Белому дому листовки, печатали их в нашем институте, у нас был ксерокс. Ездили туда и обратно мимо танков, и меня, помню, удивило, что на броне у них я увидела заплаты. Квадратные заплаты, винтами привинченные…

Все эти годы, пока меня не было, мои друзья прожили в полной эйфории: революция свершилась! Коммунизм пал! Откуда-то у всех была уверенность, что все сложится хорошо, потому что в России много образованных людей. Богатейшая страна. Но Мексика тоже богатая… За нефть и газ демократию не купишь, и ее не завезешь, как бананы или швейцарский шоколад. Президентским указом не объявишь… Нужны свободные люди, а их не было. Их и сейчас нет. В Европе двести лет ухаживают за демократией, как за газонами. Дома мама плакала: "Вот ты говоришь, что Сталин плохой, но мы с ним победили. А ты хочешь предать Родину". Пришел в гости мой старинный приятель. Пьем на кухне чай: "Что будет? Ничего хорошего не будет, пока не расстреляем всех коммуняк". Опять кровь? Через несколько дней я подала документы на выезд…»

«…с мужем развелась… Подала на алименты, он не платит и не платит. Дочь поступила в коммерческий вуз, денег не хватало. У моей подруги был знакомый американец, он начал в России свой бизнес. Ему нужна была секретарша, но он хотел найти не модель с ногами от шеи, а надежного человека. Подруга порекомендовала меня. Его очень интересовала наша жизнь, он многого не понимал. "Почему у всех ваших бизнесменов лакированные туфли?", "А что такое "дать на лапу" и "у нас все схвачено и все проплачено"?" Такие вопросы. Но планы он имел большие: Россия — огромный рынок! Разорили его банально. Простым приемом. Для него очень много значило слово — ему сказали, он поверил. Потерял много денег и решил уехать домой. Пригласил меня перед отъездом в ресторан, я думала, что мы попрощаемся и все. А он поднял бокал: "Давай выпьем — знаешь за что? Денег я тут не заработал, зато нашел хорошую русскую жену". Уже семь лет вместе…»

«…раньше мы жили в Бруклине… Сплошь русская речь и русские магазины. В Америке можно родиться с русской акушеркой, учиться в русской школе, работать у русского хозяина, ходить на исповедь к русскому священнику… Колбаса в лавках: "ельцинская", "сталинская", "микояновская"… и сало в шоколаде… Старики на лавочках режутся в домино и играют в карты. Ведут бесконечные дискуссии о Горбачеве и Ельцине. Есть сталинистыи антисталинисты. Проходишь мимо и ловишь ухом: "Нужен был Сталин?" — "Да, нужен". А я маленькая уже все про Сталина знала. Пять лет мне было… Мы стоим с мамой на автобусной остановке, как я теперь понимаю, недалеко от районного здания КГБ, я то капризничаю, то громко плачу. "Не плачь, — просит мама, — а то нас услышат плохие люди, которые забрали нашего дедушку и еще много других хороших людей". И она начинает мне рассказывать про дедушку… Маме надо с кем-то поговорить… Когда Сталин умер, в детском саду нас всех посадили плакать. Одна я не плакала. Дедушка вернулся из лагеря и встал перед бабушкой на колени, она все время за него хлопотала…»

«…сейчас и в Америке появилось много молодых русских парней, которые носят футболки с портретом Сталина. На капотах своих машин рисуют серп и молот. Ненавидят черных…»

«…а мы из Харькова… Оттуда Америка нам казалась раем. Страной счастья. Первое впечатление, когда приехали: мы строили коммунизм, а построили его американцы. Знакомая девочка повела нас на распродажу, приехали — у мужа одни джинсы и у меня, надо было приодеться. Смотрю: юбочка — три доллара, джинсы — пять… Смешные цены! Запах пиццы… хорошего кофе… Вечером открыли с мужем бутылку "Мартини" и закурили "Мальборо". Мечта исполнилась! Но все пришлось начинать с нуля в сорок лет. Тут сразу спускаешься на две-три ступеньки вниз, забудь о том, что ты режиссер, актриса или окончила Московский университет… Сначала я устроилась нянечкой в больнице: горшки выносила, полы подтирала. Не выдержала. Стала выгуливать собак у двух стариков. Работала кассиром в супермаркете… Было Девятое мая, самый дорогой для меня праздник. Отец до Берлина дошел. Я вспомнила об этом… Старшая кассир говорит: "Мы победили, но вы, русские, тоже молодцы. Помогли нам". Так их в школе учат. Я чуть со стула не упала! Что они о России знают? Русские пьют водку стаканами, и у них много снега…»

«…ехали за колбасой, а колбаса оказалась не такой дешевой, как мечталось…»

«…из России уезжают мозги, а приезжают руки… Гастарбайтеры… Мама пишет, что у них дворник-таджик перевез в Москву уже всю свою родню. Теперь они на него работают, а он хозяин. Командует. Жена ходит вечно беременная. Барана на свои праздники они режут прямо во дворе. Под окнами у москвичей. И жарят шашлыки…»

«…я человек рациональный. Все эти сантименты по поводу языка дедушек и бабушек — только эмоции. Я запретил себе читать русские книги, смотреть русский интернет. Хочу выбить из себя все русское. Перестать быть русским…»

«…муж очень хотел уехать… Привезли с собой десять ящиков русских книг, чтобы дети не забывали родной язык. В Москве на таможне все ящики вскрыли, искали антиквариат, а у нас: Пушкин, Гоголь… Таможенники долго смеялись… Я и сейчас включаю радио "Маяк" и слушаю русские песни…»

«…Россия, моя Россия… Питер любимый! Как я хочу вернуться! Щас заплачу… Да здравствует коммунизм! Домой! И картошка здесь на вкус — гадость несусветная. А шоколад русский просто отличный!»

«…а трусы по талонам вам по-прежнему нравятся? Я вспоминаю, как сдавала и учила научный коммунизм…»

«…русские березки… березки потом…»

«…сын моей сестры… У него прекрасный английский. Компьютерщик. Пожил в Америке год и вернулся домой. Говорит, что в России сейчас интереснее…»

«…я тоже скажу… Многие уже и там хорошо живут: работа, дом, машина — все у них есть. Но все равно боятся и хотят уехать. Бизнес могут отобрать, в тюрьму ни за что посадить… искалечить вечером в подъезде… По закону никто не живет — ни наверху, ни внизу…»

«…Россия с Абрамовичем и Дерипаской… с Лужком… Разве это Россия? Этот корабль тонет…»

«…ребята, жить надо в Гоа… А деньги зарабатывать в России…»

*Выхожу на балкон. Тут курят и продолжают тот же разговор: умные сегодня уезжают из России или глупые? Не сразу поверила, когда услышала, как за столом кто-то запел «Подмосковные вечера», нашу любимую советскую песню: «Не слышны в саду даже шорохи, всё здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги  подмосковные вечера…» Возвращаюсь в комнату — уже все поют. И я тоже.*

**О чужом горе, которое Бог положил на порог вашего дома**

*Равшан… — гастарбайтер, 27 лет*

Рассказывает ГавхарДжураева — руководитель центра «Миграция и закон» при фонде «Таджикистан»

«…человек без Родины — соловей без своего сада»

— О смерти я много знаю. Я когда-нибудь сойду с ума от всего, что я знаю…

Тело — чаша для духа. Его дом. По мусульманским обычаям тело надо похоронить как можно быстрее — желательно в тот же день, как только Аллах забрал душу. В доме умершего вешают на гвоздь кусочек белой материи, он висит сорок дней. Душа прилетает ночью и садится на этот лоскуток. Слушает родные голоса. Радуется. И улетает обратно.

Равшан… я его хорошо помню… Обычная история… Им полгода не выдавали зарплату, а у него четверо детей остались на Памире, тяжело заболел отец. Он пришел в строительную контору, просил аванс, и ему отказали. Последняя капля. Вышел на крыльцо и полоснул себя ножом по горлу. Мне позвонили… Я приехала в морг… Вот это потрясающе красивое лицо… Невозможно забыть. Его лицо… Собрали деньги. Для меня до сих пор загадка, как срабатывает этот внутренний механизм: копейки ни у кого нет, но если человек умер, моментально соберут нужную сумму, отдадут последнее, чтобы он был похоронен дома, в своей земле лежал. Не остался на чужбине. Единственная сторублевка в кармане — и ее отдадут. Скажешь, что домой надо ехать — не дадут, ребенок больной — не дадут, а на смерть — на, возьми. Принесли и положили мне на стол целлофановый пакет этих смятых сторублевок. И я пошла с ними в кассу Аэрофлота. К начальнику. Душа сама улетит домой, а гроб отправить самолетом очень дорого.

Берет со стола бумаги. Читает.

…полицейские вошли в квартиру, где жили гастарбайтеры — беременная женщина и ее муж, на глазах жены его стали избивать за то, что у них нет регистрации. У нее началось кровотечение — умерла она, и умер еенерожденный ребенок…

…в Подмосковье пропали три человека — два брата и сестра… К нам обратились за помощью приехавшие из Таджикистана их родственники. Мы позвонили в пекарню, где они до этого работали. Первый раз нам ответили: «Таких не знаем». Второй раз к телефону подошел сам хозяин: «Да, работали у меня таджики. Я им заплатил за три месяца, и они в тот же день ушли. Не могу знать — куда». Тогда мы обратились в полицию. Всех троих нашли убитыми лопатой и закопанными в лесу. Хозяин пекарни стал звонить в фонд и угрожать: «У меня везде свои люди. Я и вас зарою».

…двоих молодых таджиков со стройки увезли на «скорой помощи» в больницу… Всю ночь они пролежали в холодном приемном покое, к ним никто не подошел. Врачи не скрывали своих чувств: «И чего вы, черножопые, сюда понаехали?»

…омоновцы вывели ночью из подвала пятнадцать дворников-таджиков, положили на снег и стали бить. Бегать по ним в кованых ботинках. Один пятнадцатилетний мальчик умер…

…получила мать мертвого сына из России. Без внутренних органов… На московском черном рынке можно купить все, что есть у человека: почки, легкие, печень, зрачки, сердечные клапаны, кожу…

Это — мои братья и сестры… Я тоже родилась на Памире. Горянка. Земля у нас на вес золота, пшеницу меряют не мешками, а тюбетейками. Всюду — гигантские горы, рядом с которыми любое чудо, которое сотворил человек, кажется детским. Игрушечным. Живешь там — ноги на земле, а голова в облаках. Ты так высоко, что будто ты уже не в этом мире. Море — это совсем другое, море манит к себе, а горы дают ощущение защиты, они тебя охраняют. Вторые стены дома. Таджики не воины, когда на их землю приходил враг, они поднимались в горы… *(Молчит.)* Моя любимая таджикская песня — это песня-плач о покинутой родной земле. Всегда рыдаю, когда ее слушаю… Самое страшное для таджика — покинуть свою Родину. Жить вдали от нее. Человек без Родины — соловей без своего сада. Много лет я уже живу в Москве, но я все время окружаю себя тем, что было у меня дома: увижу в журнале горы, обязательно эту фотографию вырежу и повешу на стенку, и ту, где цветущий абрикос, и белый хлопок. Я во сне часто собираю хлопок… Открываю коробочку, края очень острые у этой коробочки, а внутри лежит белый комочек, как вата, веса почти не имеет, надо так его вытащить, чтобы не поцарапать руки. Утром просыпаюсь усталая… На московских базарах я ищу таджикские яблоки, они у нас самые сладкие, таджикский виноград, он слаще рафинада. А в детстве я мечтала, что увижу когда-нибудь русский лес, грибы… Поеду и увижу этих людей. Это вторая часть моей души: изба, печь, пирожки. *(Молчит.)* Я про нашу жизнь рассказываю… И про своих братьев… Для вас они все на одно лицо: черноволосые, немытые, враждебные. Из непонятного мира. Чужое горе, которое Бог положил на порог вашего дома. А у них нет ощущения, что они приехали к чужим людям, потому что их родители жили в СССР и Москва была столицей для всех. И теперь им тут дали работу и кров. На Востоке говорят: не плюй в колодец, из которого берешь воду. В школе все таджикские мальчики мечтают поехать на заработки в Россию… Чтобы купить билет, занимают деньги у всего кишлака. Русские таможенники у них спрашивают на границе: «К кому
едешь?» — Они отвечают: «К Нине»… Все русские женщины для них Нины… Русский язык в школе уже не учат. Каждый везет с собой коврик для молитвы…

*Мы разговариваем в фонде. Тут всего несколько маленьких комнат. Не умолкают телефоны.*

Вот вчера я девочку спасла… Она умудрилась позвонить мне прямо из машины, когда полицейские везли ее в лес, звонит и шепчет: «Схватили на улице, везут за город. Все пьяные». Номер машины назвала… По пьяни они забыли ее обыскать и забрать мобильник. Девочка только приехала из Душанбе… красивая девочка… Я — восточная женщина, я еще маленькая была, а бабушка и мама уже учили меня, как надо с мужчинами разговаривать. «Огонь не победишь огнем, а только мудростью», — говорила бабушка. Звоню в полицейский участок: «Слушай, мой дорогой, что-то странное происходит: ваши ребята куда-то не туда повезли нашу девочку, и они выпившие. Позвоните им, чтобы до греха не дошло. Номер машины нам известен». На том конце провода — сплошной поток ругательств: эти «чурки»… эти «черные обезьяны», которые только вчера с дерева слезли, мол, какого черта вы тратите на них время. «Мой дорогой, ты послушай меня, я такая же "черная обезьяна"… Я — твоя мама…» Молчание! Там же тоже человек… Всегда на это надеюсь… Слово за слово, и мы стали разговаривать. Через пятнадцать минут машина развернулась… Привезли девчонку назад… Могли изнасиловать, убить. Не один раз… я в лесу этих девочек по кусочкам собирала… Знаете, кто я? Я работаю алхимиком… У нас общественный фонд — денег нет, власти нет, есть только хорошие люди. Наши помощники. Помогаем, спасаем беззащитных. Желаемый результат получается из ничего: из нервов, из интуиции, из восточной лести, из русской жалости, из таких простых слов, как «мой дорогой», «мой ты хороший», «я знала, что ты настоящий мужчина, ты обязательно поможешь женщине». Ребята — говорю я садистам в погонах — я в вас верю. Верю, что вы люди. С одним полицейским генералом долго вела беседу... Это был не идиот, не солдафон, а интеллигентного вида мужчина. «Вы знаете, — сказала я ему, — у вас работает настоящий гестаповец. Мастер пыток, его все боятся. Из бомжей и гастарбайтеров, которые попадают к нему, он делает инвалидов». Я думала, что он ужасне-тся или испугается, будет защищать честь мундира. А он посмотрел на меня с улыбкой: «Дайте-ка мне его фамилию. Какой молодец! Мы его повысим, наградим. Такие кадры беречь надо. Я ему премию выпишу». Я онемела. А он продолжал: «Честно вам признаюсь… Мы специально создаем для вас такие невыносимые условия, чтобы вы скорее уехали. В Москве два миллиона гастарбайтеров, город не может переварить такое количество людей, внезапно свалившихся нам на голову. Вас слишком много». *(Молчит.)*

Москва красивая… Мы шли с вами по Москве, и вы все время восхищались: «Какая Москва стала красивая! Это уже европейская столица!» А я этой красоты не чувствую. Я иду, смотрю на новые здания и вспоминаю: тут двое таджиков погибло, упали с лесов… а тут одного утопили в цементе… Помню, за какие копейки они тут вкалывали. На них наживаются все: чиновники, полицейские, коммунальщики… Дворник-таджик расписывается в ведомости, что получает тридцать тысяч, а на руки ему выдают семь. Остальное забирают, делят между собой разные начальники… начальники начальников… Законы не работают, вместо законов правят бабло и сила. Маленький человек — самый беззащитный, зверь в лесу — и тот лучше защищен, чем он. Зверя у вас лес защищает, а у нас горы… *(Молчит.)* Я большую часть жизни прожила при социализме, сейчас вспоминаю, как мы идеализировали человека, я о человеке в то время хорошо думала. В Душанбе я работала в Академии наук. Занималась историей искусства. Я думала, что книги… то, что человек написал о себе, это правда… Нет, это ничтожная доля правды… Я давно уже не идеалистка, я слишком много теперь знаю…Ко мне часто приходит одна девушка, она больна… Известная наша скрипачка. От чего она сошла с ума? Может, от того, что ей говорили: «Вы играете на скрипке — а зачем это вам? Знаете два языка — зачем? Ваша работа — убирать, подметать. Вы тут — рабы». Эта девушка уже не играет на скрипке. Все забыла.

Еще у меня был молодой парень… Полицейские поймали его где-то в Подмосковье, отобрали деньги, но денег было мало. Разозлились. Вывезли в лес. Избили. Зима. Мороз. Они его раздели до трусов… Ха-ха-ха… Порвали все его документы.. . И он мне все это рассказывает. Спрашиваю: «Как же ты спасся?» — «Я думал, что я умру, я бежал босиком по снегу. И вдруг, как в сказке, вижу избушку. Постучал в окошко, выходит старик. И этот старик дал мне кожух, чтобы я согрелся, налил чаю и дал варенья. Дал одежду. Назавтра отвел в большое село и нашел грузовик, который довез меня до Москвы».

Этот старик… это тоже Россия…

*Из соседней комнаты позвали: «ГавхарКандиловна, к вам пришли». Я жду, когда она вернется. У меня есть время — и я вспоминаю о том, что слышала в московских квартирах.*

**В московских квартирах**

— Понаехали тут… Добрая русская душа…

— Русский народ вовсе не добр. Это глубокое заблуждение. Жалостлив, сентиментален, но не добр. Зарезали дворняжку — и сняли на видео. Весь интернет поднялся. Суд Линча готовы были устроить. А сгорели на рынке семнадцать гастарбайтеров — их хозяин закрывал на ночь в металлическом вагончике на ключ, вместе с товаром — за них заступились только правозащитники. Те, кому по роду деятельности положено всех защищать. Общее же настроение было такое: эти погибли — другие приедут. Безликие, безъязыкие… чужие…

— Это рабы. Современные рабы. Все их имущество — х… и кеды. У них на родине еще хуже, чем в самом гнилом московском подвале.

— Попал медведь в Москву и перезимовал. Питался гастарбайтерами. Кто их считает… Ха-ха-ха…

— До распада СССР в единой семье жили… так нас учили на политзанятиях… Тогда они были «гости столицы», а сейчас «чурки», «хачи». Мне дед рассказывал, как он вместе с узбеками под Сталинградом воевал. Верили: братья навек!

— Вы меня удивляете… Они сами отделились. Свободы захотели. Забыли? Вспомните, как в девяностые они резали русских. Грабили, насиловали. Гнали отовсюду. Среди ночи стук в дверь… Врываются — кто с ножом, кто с автоматом: «Убирайся с нашей земли, русская тварь!» Пять минут на сборы… И бесплатная доставка до ближайшей станции. Люди выскакивали из квартир в тапочках… Вот как оно было…

— Мы помним унижение наших братьев и сестер! Смерть чуркам! Русского Мишку трудно разбудить, но если он поднимется, кровищи пустит много.

— Кавказу дали в рыло русским прикладом. Теперь — кто следующий?

— Ненавижу бритоголовых! Они способны только на одно — бейсбольными битами или молотками забить насмерть дворника-таджика, который им ничего не сделал. На демонстрациях орут: «Россия — для русских, Москва — для москвичей». Моя мама — украинка, отец — молдаванин, бабушка по материнской линии — русская. А кто я? По какому принципу собираются «чистить» Россию от нерусских?

— Три таджика заменяют самосвал. Ха-ха-ха…

— А я скучаю по Душанбе. Я там выросла. Учила фарси. Язык поэтов.

— Слаб*о* пройти по городу с плакатом «Люблю таджиков»? В момент морду набьют.

— У нас рядом стройка. Хачи шныряют, как крысы. Из-за них в магазин вечером страшно выйти. За дешевый мобильник могут убить…

— Ах-ах-ах! Два раза меня грабили — русские, в собственном подъезде чуть не убили — русские. Как же задолбал меня этот народ-богоносец.

— А вы бы хотели, чтобы ваша дочь вышла замуж за мигранта?

— Это мой родной город. Моя столица. А они приехали сюда со своим шариатом. На Курбан-Байрам режут у меня под окнами баранов. А что не на Красной площади? Бедные животные кричат, кровь хлещет… Выйдешь в город: там… и там… красные лужи на асфальте… Я иду с ребенком: «Мама, что это?» В этот день город «чернеет». Уже не наш город. Их сотни тысяч из подвалов вываливает… Полицейские в стены вжимаются от страха…

— Я дружу с таджиком. Его зовут Саид. Красивый — как бог! У себя дома он был врачом, здесь — на стройке работает. Влюблена в него по уши. Что делать? Когда встречаемся, гуляем с ним по паркам или уезжаем куда-нибудь за город, чтобы никого из моих знакомых не встретить. Боюсь родителей. Отец предупредил: «Увижу с черномазым, пристрелю обоих». Кто мой отец? Музыкант… окончил консерваторию…

— Если «черный» идет с девушкой… нашей! Таких кастрировать надо.

— За что их ненавидят? За карие глаза, за форму носа. Их ненавидят просто так. У нас каждый обязательно кого-то ненавидит: соседей, ментов, олигархов… глупых янки… Да кого угодно! Много ненависти в воздухе… до человека нельзя дотронуться…

«…бунт народа, который я видела,  напугал меня на всю жизнь»

*Время обеда. Пьем с Гавхар чай из таджикских пиал и продолжаем разговор.*

— Когда-нибудь я сойду с ума от того, что помню…

Девяносто второй год… Вместо свободы, которую мы все ждали, началась гражданская война. Кулябцы убивали памирцев, а памирцы — кулябцев… Каратегинцы, гиссарцы, гармцы — все разделились. На стены домов повесили плакаты: «Русские, руки прочь от Таджикистана!», «Коммунисты — убирайтесь в свою Москву!». Это уже был не мой любимый Душанбе… По улицам города ходили толпы с арматурой и с камнями в руках… Совершенно мирные, тихие люди превратились в убийц. Еще вчера они были другие, спокойно чай пили в чайхане, а сегодня ходят и железными прутьями вспарывают животы женщинам… Громят магазины, киоски. Я пошла на базар… На акациях висели шляпы и платья, на земле лежали мертвые, все подряд: люди, животные… *(Молчит.)* Помню… Красивое утро. На какое-то время я забыла о войне. Показалось, что все будет как раньше. Вот яблоня цветет, и абрикос… Никакой войны нет. Распахнула окно и тут же увидела черную толпу. Они все шли молча. Вдруг один повернулся, и мы встретились с ним взглядом… видно — бедняк, взгляд этого парня мне говорил: вот сейчас я могу зайти в твой красивый дом и сделать все что захочу, это мой час… Вот о чем мне сказали его глаза… я ужаснулась… Отпрянула от окна, задернула шторы, одни, вторые, побежала и закрыла двери на все замки и спряталась в самой дальней комнате. В его глазах был азарт… Что-то сатанинское есть в толпе. Я боюсь это вспоминать…*(Плачет.)*

Я видела, как во дворе убивали русского мальчика. Никто не вышел, все закрыли окна, я выскочила в банном халате: «Оставьте его! Вы его уже убили!» Он лежал без движения… Ушли. Но скоро вернулись и стали его добивать, такие же пацаны, как и он. Мальчики… это были мальчики… Я позвонила в милицию — они посмотрели, кого бьют, и уехали. *(Молчит.)*Недавно, когда в Москве в одной компании я услышала: «Я люблю Душанбе. Какой интересный был город! Я скучаю по этому городу», — как я была благодарна этому русскому человеку! Ничего, кроме любви, нас не спасет. Зло молящегося Аллах не слушает. Аллах учит: не надо открывать дверь, которую потом не закроешь… *(Пауза.)*Убили одного нашего друга… Он был поэт. Таджики любят стихи, в каждом доме есть книги со стихами, хотя бы одна-две, у нас поэт — святой человек. Его трогать нельзя. Убили! Перед тем как убить, ему сломали руки… За то, что он писал… Через короткое время убили второго друга… На теле ни одного синяка, чистое тело, били в рот… За то, что он говорил… Весна. Так солнечно, так тепло, а люди убивают друг друга… Хотелось уйти в горы.

Все куда-то уезжали. Спасались. Наши друзья жили в Америке. В Сан-Франциско. Позвали к себе. Сняли там маленькую квартиру. Так красиво! Тихий океан… Куда ни пойдешь — везде он. Целыми днями я сидела на берегу и плакала, ничего делать не могла. Я приехала с войны, где человека могли убить за пакет молока… Идет вдоль берега старик, закатанные штанины, яркая футболка. Остановился возле меня: «Что у тебя случилось?» — «У меня на Родине — война. Брат убивает брата». — «Оставайся здесь». Он говорил, что океан и красота лечит… Долго меня утешал. А я плакала. На хорошие слова у меня была одна реакция — слезы лились в три ручья, от хороших слов я плакала сильнее, чем дома от выстрелов. От крови.

Но я не смогла жить в Америке. Рвалась в Душанбе, а если домой возвращаться опасно, то хочу поближе к дому. Переехали в Москву… Сижу в гостях у одной поэтессы. Слушаю бесконечное брюзжание: Горбачев — трепач… Ельцин — пьяница… народ — быдло… Сколько раз я уже это слышала? Тысячу раз! Хозяйка хочет взять и помыть мою тарелку, а я не даю — я все могу есть с одной тарелки. И рыбу, и пирожное. Я приехала с войны… У другого писателя полный холодильник сыра и колбасы — а таджики уже забыли, что это такое, — и опять весь вечер я слушаю нудное брюзжание: власть плохая, демократы похожи на коммунистов… русский капитализм людоедский… И никто ничего не делает. Все ждут, что вот-вот будет революция. Не люблю я этих разочарованных на кухне. Я не из их компании. Бунт народа, который я видела, испугал меня на всю оставшуюся жизнь, я знаю, что такое свобода в неопытных руках. Болтовня всегда кончается кровью. Война — это волк, который может прийти и к вашему дому… *(Молчит.)*

Вы видели эти кадры в интернете? Меня они полностью выбили из колеи. Я неделю провалялась в постели… Вот эти кадры… Убивали и снимали. Был у них сценарий, расписали роли… Как в настоящем кино… Теперь нужен зритель. И мы смотрим… они заставили нас… Вот парень идет по улице, наш парень, таджик… Вот они его подзывают, он подходит, его сбивают с ног. Бьют бейсбольными битами, сначала он крутится на земле, а потом затихает. Его связывают и грузят в багажник. В лесу привязывают к дереву. Видно: тот, кто снимает, ищет ракурс, чтобы была хорошая картинка. Парню отрезают голову. Откуда это пришло? Отрезание головы… Это восточный ритуал. Не русский. Наверное, он из Чечни. Помню… Один год убивали просто «отвертками», потом появились трезубцы, за ними трубы и молотки… Всегда смерть наступала от удара тупым предметом. Сейчас новая мода…*(Молчит.)*На этот раз убийц нашли. Их будут судить. Все мальчики из хороших семей. Сегодня режут таджиков, завтра будут резать богатых или тех, кто другому Богу молится. Война — это волк… Он уже пришел…

**В московских подвалах**

*Выбрали дом — «сталинку» в самом центре Москвы. Строились эти дома при Сталине для большевистской элиты, потому и зовут их «сталинками», они и сейчас в цене. Сталинский ампир: лепнина на фасадах, барельефы, колонны, высота потолков в квартирах три-четыре метра. Потомки бывших вождей обеднели, сюда переезжают «новые русские». Во дворе стоят «бентли», «феррари». На первом этаже горят огнями витрины дорогих бутиков.*

*Наверху — одна жизнь, под землей — другая. Вместе со знакомым журналистом спускаемся в подвал… Долго петляем между ржавых труб и заплесневелых стен, время от времени дорогу нам перегораживают железные крашеные двери, на них висят замки и стоят пломбы, но все это — фикция. Условный стук — и проходи. Подвал наполнен жизнью. Длинный освещенный коридор: по обе стороны — комнаты, стены из фанеры, вместо дверей — разноцветные шторы. Московское подземелье поделено между таджиками и узбеками. Мы попали к таджикам. В каждой комнате — семнадцать-двадцать человек. Коммуна. Кто-то узнал моего «гида» — он приходит сюда уже не в первый раз — и приглашает нас к себе. Заходим в комнату: у входа гора обуви, детские коляски. В углу — плита, газовый баллон, к ним притиснуты столы и стулья, перекочевавшие сюда с ближайших помоек. Все остальное пространство занимают двухъярусные самодельные кровати.*

*Время ужина. Человек десять уже сидят за столом. Знакомимся: Амир, Хуршид, Али… Те, кто постарше, учились в советской школе, по-русски говорят без акцента. Молодые языка не знают. Только улыбаются.*

*Гостям рады.*

— Скоро мы немножко покушаем, *—*усаживает нас за стол Амир, в прошлом учитель, он тут за старшего*. —*Попробуете таджикский плов. Вкусно — мама дорогая! У таджиков так: если ты встретил человека недалеко от своего дома, ты должен позвать его к себе и дать ему пиалу с чаем.

*Диктофон включить не могу — боятся. Достаю ручку. Тут мне помогает их крестьянское уважение к пишущему человеку. Одни приехали из кишлаков, другие спустились с гор. И сразу попали — в гигантский мегаполис.*

— Москва — хорошо, работы — много. А жить вообще-то страшно. Я иду по улице один… Даже днем… Я молодым ребятам в глаза не смотрю — убить могут. Молиться каждый день надо…

— Ко мне подошли в электричке трое… Я с работы ехал. «Ты что тут делаешь?» — «Домой еду». — «Где твой дом? Кто тебя сюда звал?» Начали бить. Били и кричали: «Россия — для русских! Слава России!» — «Ребята, за что? Аллах все видит» — «Твой Аллах тут тебя не видит. У нас свой Бог.» Зубы выбили… ребро сломали… Полный вагон людей, и одна только девушка заступилась: «Оставьте его! Он вас не трогал» — «Ты — чего? Хача бьем».

— Рашида убили… Тридцать раз ударили ножом. Ты мне скажи, зачем тридцать раз?

— На все воля Аллаха… Бедняка и на верблюде собака укусит.

— Мой папа учился в Москве. Сегодня он день и ночь плачет по СССР. Он мечтал, что я тоже буду учиться в Москве. А меня тут полицейский бьет, хозяин бьет… Живу в подвале, как кошка.

— Мне СССР не жалко… Дядя Коля, наш сосед… он русский был… Он на мою маму кричал, когда она отвечала ему по-таджикски: «Говори на нормальном языке. Земля ваша, власть наша». Мама плакала.

— Я сегодня сон видел: иду по нашей улице, соседи кланяются: «Салам алейкум»… «Салам алейкум»… В наших кишлаках остались только женщины, старики и дети.

— Дома моя зарплата была пять долларов в месяц… Жена, трое детей… В кишлаках годами люди не видят сахара…

— На Красной площади не был. Ленина не видел. Работа! Работа! Лопата, кирка, носилки. Весь день с меня, как с арбуза, вода течет.

— Заплатил одному майору за документы: «Пусть Аллах даст тебе здоровье. Какой хороший человек!» А документы оказались фальшивые. В «обезьянник» посадили. Били ногами, били палками.

— Нет документа — нет человека…

— Человек без Родины — бездомный пес… Каждый может обидеть. Полицей-ские за день десять раз остановят: «Покажи документы». Эта бумажка есть, а этой нет. Не дашь денег — бьют.

— Кто мы? Строители, грузчики, дворники, посудомойки… Менеджерами мы тут не работаем…

— Мама довольна, я деньги присылаю. Нашла мне красивую девушку, я ее еще не видел. Мама выбирала. Приеду — женюсь.

— Все лето работал у одного богатого под Москвой, а в конце они мне не заплатили: «Пошел! Пошел! Я тебя кормил».

— Когда у тебя есть сто баранов — ты прав. Ты всегда прав.

— Мой друг тоже просил у хозяина денег за работу. Полиция потом его долго искала. Откопали в лесу... Мама гроб получила из России…

— Выгонят нас… Кто Москву отстраивать будет? Дворы подметать? Русские за те деньги, что нам платят, пахать не станут.

— Закрою глаза — вижу: арык течет, хлопок цветет, он цветет нежно-розово, как сад.

— А ты знаешь, что у нас была большая война? После падения СССР сразу стали стрелять… Хорошо жил только тот, у кого был автомат. Я в школу ходил… Каждый день я видел два-три трупа. Мама в школу не пустила. Я сидел дома и читал Хайяма. У нас все читают Хайяма. А ты его знаешь? Если знаешь, то ты мне сестра.

— Убивали неверных…

— Аллах сам рассудит — кто верный, а кто неверный. Сам будет судить.

— Маленький был… Я не стрелял. Мама рассказывала, что до войны жили так: на одной свадьбе говорили по-таджикски, по-узбекски и по-русски. Кто хотел — молился, а кто не хотел — не молился. Скажи, сестра, почему люди так быстро научились убивать друг друга? Они все Хайяма в школе читали. И Пушкина.

— Народ — караван верблюдов, который гонят плеткой…

— Учу русский язык*…*Вот послушайте: красивый дэвушка, хлэб, дэнги… начальник плёхой…

— Уже пять лет я в Москве, и со мной ни разу никто не поздоровался. Русским нужны «черные», чтобы они могли чувствовать себя «белыми», смотреть на кого-то сверху вниз.

— Как у всякой ночи есть утро, так у всякой печали бывает конец.

— Наши девушки ярче. Не зря их сравнивают с гранатом…

— На все воля Аллаха…

*Из подземелья поднимаемся наверх. Теперь я смотрю на Москву другими глазами — ее красота кажется мне холодной и тревожной. Москва, тебе все равно — любят тебя или нет?*

**Примечание обывателя**

— Что вспомнить? Живу как все. Была перестройка… Горбачев… Почтальонша открыла калитку: «Слыхала, коммунистов уже нет?» — «Как нет?» — «Партию закрыли». Никто не стрелял, ничего. Теперь говорят, что была великая держава и все пропало. А что у меня пропало? Я как жила в домике без всяких удобств — без воды, без канализации, без газа — так и живу. Честно работала всю жизнь. Пахала, пахала, привыкла пахать. И всегда получала копейки. Как ела макароны и картошку, так и ем. Шубу донашиваю советскую. У нас тут — снега!

Самое хорошее у меня воспоминание, как я замуж выходила. Любовь была. Помню, возвращались из загса, и цвела сирень. Сирень цвела! В ней, вы поверите, пели соловьи… Я так помню…  Дружно пожили мы пару лет, девочку родили… А потом Вадик запил и сгорел от водки. Молодой мужик, сорок два года. Так и живу одна. Дочка уже выросла, вышла замуж и уехала.

Зимой нас засыпает снегом, весь поселок в снегу — и дома, и машины. Бывает, что неделями не ходят автобусы. Что там в столице? От нас до Москвы — тысяча километров. Смотрим московскую жизнь по телевизору, как кино. Путина и Аллу Пугачеву знаю… остальных — никого… Митинги, демонстрации… А мы тут — как жили, так и живем. И при социализме, и при капитализме. Нам что «белые», что «красные» — одинаково. Надо дождаться весны. Картошку посадить…*(Долго молчит.)*Мне шестьдесят лет… Я в церковь не хожу, а поговорить с кем-нибудь надо. Поговорить о другом… О том, что стареть неохота, стареть совсем не хочется. А умирать будет жалко. Видели, какая у меня сирень? Выйду ночью — она сияет. Постою, посмотрю. Давайте я вам наломаю букет…

**---«»---**